

Год, когда мы встретились

Автор:

Сесилия Ахерн

Год, когда мы встретились

Сесилия Ахерн

Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями – стоит преодолеть одно, тут же устремляешься к новой цели. У нее есть все, что можно пожелать: интересная работа, родные, друзья. Ничто не мешает бежать дальше, ни в чем не сомневаясь и никогда не останавливаясь. Внезапно Джесмин увольняют, вынуждая остаться без дела на целый год. С привычной энергией она берется возделывать свой сад, а следом и отношения с окружающими. Принесет ли нелегкий труд долгожданные плоды? Впереди у Джесмин год для самых важных в жизни встреч...

Сесилия Ахерн

Год, когда мы встретились

Фотография автора на обложке ©Barry McCall

© Гурбановская Л., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство Иностранка®

* * *

Моей подруге Люси Стэк

Когда гусеница задумывается о мире над ней, она становится бабочкой...

Величайшая слава не в том, чтобы никогда не падать, но в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.

Конфуций

Зима

Сезон между осенью и весной. В Северном полушарии длится три месяца, самых холодных в году: декабрь, январь и февраль.

Период бездействия и распада.

Глава первая

В пять лет я узнала, что когда-нибудь мне придется умереть.

До этого мысль о том, что я не буду жить вечно, мне в голову не приходила. Да и с чего бы? Тема моей смерти прежде как-то не возникала.

Впрочем, мои познания о смерти не были совсем уж расплывчатыми – золотые аквариумные рыбки умирали, я самолично это наблюдала. Они умирали, если им не давали корм, и также они умирали, если им его давали слишком много.

Собаки умирали, когда перебежали дорогу перед машинами, мыши – соблазнившись приманкой в мышеловке в кладовке под лестницей, а кролики – когда удирали из клетки и становились добычей зловредных лисиц. Их смерть не породила тревоги о моей собственной судьбе, ведь я знала, что они неразумные животные, наделавшие глупостей, которых я делать вовсе не собиралась.

Новость о том, что меня тоже настигнет смерть, стало огромным потрясением.

Мой источник информации утверждал, что, если «повезет», я умру в точности так же как дедушка. В старости. От дедушки пахло трубочным табаком, и он частенько пукал, к его усам прилипали клочки бумажных салфеток, куда он регулярно сморкался. В подушечки пальцев навсегда въелась грязь от работы в саду. Уголки глаз пожелтели и напоминали мраморные шарики из коллекции моего дяди. Сестра любила засовывать их в рот, иногда она их проглатывала, и тогда подбегал папа, обхватывал ее поперек живота и сжимал покрепче, пока они не возвращались обратно. В старости. Дедушка носил коричневые брюки, задирая их повыше, под самую грудь, нависавшую, как женские сиськи. Брюки туго обтягивали мягкий живот и яички, сплюснутые сбоку ширинки. В старости. Нет, я не хотела умирать, как дедушка, в старости, но мой источник заверил, что это наилучший сценарий из всех возможных.

О надвигающейся смерти я узнала от своего двоюродного брата Кевина в день похорон дедушки. Мы сидели на траве в укромном углу сада, держа в руках пластиковые стаканчики с красным лимонадом[1 - Красный лимонад – популярная ирландская разновидность лимонада, часто смешивается с виски и другими крепкими спиртными напитками.], – как можно дальше от скорбящих родственников, напоминавших жуков-скарабеев. День выдался на редкость жаркий, самый жаркий в тот год. Лужайка сплошь заросла одуванчиками и маргаритками, трава поднялась куда выше обычного, потому что в последние недели болезни дедушка уже не мог как следует ухаживать за садом. Помню, мне было грустно и обидно за него – он так гордился своим прекрасным садом, а теперь, когда там собралась вся родня и соседи, его детище явилось им не в полном своем великолепии. Он бы не переживал, что его там нет, – дедушка не любил пустой болтовни, – но он бы, во всяком случае, позаботился, чтобы все было в наилучшем виде, а сам улизнул на второй этаж к себе в комнату, открыл окно пошире и оттуда внимал похвалам. Он бы притворялся, что ему все равно, но на лице у него была бы довольная улыбка, а вот штаны с зелеными пятнами на коленях и грязные руки его бы и правда ничуть не тревожили.

Какая-то пожилая леди с четками, которые она теребила костлявыми пальцами, сказала, что ощущает в саду его присутствие. А я была уверена, что его там нет. Его бы настолько раздражало, во что превратился сад, что он бы не смог этого вынести.

Бабушка порой прерывала молчание фразами вроде: «Как пышно расцвели его подсолнечники, упокой Господь его душу», или «Он больше никогда уже не увидит, как распускаются петунии». На что мой всезнающий братец Кевин пробурчал: «Ну да, теперь он превратился в удобрение для них».

Все дети захихикали. Они всегда смеялись над тем, что говорил Кевин, потому что Кевин был крутой, и Кевин был старше, и в свои горделивые десять лет он мог сказать любую жестокую гадость, чего мы, младшие, себе позволить не могли. Даже если нам не было смешно, мы все равно смеялись, потому что знали – иначе он тут же сделает нас предметом своих злобных нападков, как и случилось в тот день со мной. Я не думала, что это смешная шутка, будто дедушкино тело, зарытое в землю, поможет его петуниям расти, но и жестокими слова Кевина мне не показались. В этом была своеобразная красота. Какая-то прекрасная завершенность и справедливость. Дедушке бы это на самом деле понравилось теперь, когда его пальцы, толстые как сардельки, уже не могли больше возделывать чудесный сад, который был центром его мироздания.

Своим именем – Джесмин – я обязана дедушке. В день моего рождения он принес маме в больницу цветущие ветки, сорванные с кустов у задней стены дома. Он завернул букет в газету и обвязал коричневой веревочкой, чернила на незаконченном кроссворде задней страницы Irish Times расплылись под дождем и слегка запачкали лепестки. Это был не тот летний жасмин, который нам всем хорошо знаком по дорогим ароматическим свечкам и освежителям воздуха, я была зимним ребенком, и жасмин был зимний – с маленькими желтыми цветочками, похожими на звездочки. Он в изобилии рос в саду, яркими пятнами радуя глаз в серые зимние дни. Не думаю, что дедушка усматривал некий символический смысл в своем подарке, и не знаю, так ли уж он был польщен, когда в награду мама назвала меня в честь цветов, которые он принес. Мне кажется, он счел, что это странное имя для ребенка и годится оно лишь для растения, а вовсе не для человека. Самого его звали Адальберт, в честь ирландского святого, а второе его имя было Мэри, и имена, взятые не из Библии, были ему непривычны. За год до того, тоже зимой, родилась моя сестра, тогда он принес в роддом букет пурпурного вереска, и поэтому ее назвали Хизер. Простой, незатейливый подарок в честь рождения дочери, – но я сомневалась,

что в случае со мной все было так же просто. Если подумать, у зимнего жасмина и зимнего вереска много общего, их роднит тот факт, что они привносят цвет в унылый зимний пейзаж. Возможно, из-за того, что таков был мой дедушка, я склонна верить, что молчаливые люди обладают магией и пониманием, которых лишены люди менее содержательные, что они не говорят о чем-то очень важном, предпочитая не облекать свои мысли в слова. Быть может, их мнимая простецкость помогает скрыть причудливые идеи, и желание дедушки Адальберта, чтобы меня звали Джесмин, одна из них.

А тогда, в саду, Кевин решил, что я не смеюсь над его убийственной шуткой, потому что не одобряю ее, и поскольку для него не было ничего хуже и страшнее любого неодобрения, он обратил на меня яростный взгляд и сказал:

- Ты тоже умрешь, Джесмин.

Нас было шестеро, я самая младшая, мы сидели кружком на траве, а Хизер развлекалась чуть поодаль – крутилась на одном месте, пока не падала с хохотом навзничь. В горле у меня образовался огромный комок, будто я проглотила одного из шмелей, роившихся над столом с закусками позади нас. Мысль о грядущей кончине проникала в меня с трудом. Все были потрясены тем, что он это сказал, но вместо того, чтобы броситься на мою защиту и опровергнуть это ужасное предсказание, они смотрели на меня и печально кивали. Да, это правда, говорили их взгляды. Ты должна будешь умереть, Джесмин.

Я не знала, что сказать, и Кевин продолжал, с наслаждением вонзая нож поглубже. Меня ждет не только смерть, но еще и страшная вещь под названием «эти дни», дни, когда я буду страдать и корчиться от боли, – каждый месяц, до конца жизни. Затем я узнала, как делаются дети, с такими мерзкими подробностями, что неделю не могла смотреть родителям в глаза, и уже напоследок, дабы подсыпать соли в открытую рану, мне сообщили, что Санта-Клауса не существует.

Человек склонен забывать подобные вещи, но я этого забыть не смогла.

Почему я вспомнила тот летний эпизод? Наверное, потому, что от него я веду отсчет. Тогда я стала такой, какой я себя знаю и какой меня знают все остальные. Моя жизнь началась в пять лет. Осознание того, что я умру,

внедрилось в меня, придавило мне душу, и с тех пор я живу с этим грузом: понимая, что, хотя вообще время бесконечно, мое время ограничено и оно утекает. Я знаю, что срок, отпущенный мне, не равен чьему-то другому сроку. Мы не можем провести жизнь одинаково, мы не можем одинаково думать. Свое время тратьте как вам угодно, но не втягивайте в это меня, я не могу его разбазаривать. Если хочешь что-нибудь сделать, делай сейчас. Если хочешь сказать, говори сейчас. И, что еще важнее, ты обязан все делать сам. Это твоя жизнь, и это тебе предстоит умереть и потерять ее. Это стало моим руководством к действию, моим стимулом. Я работала в таком ритме, что дух некогда перевести, и с трудом улучала минутку, чтобы побыть с собой наедине. В этой непрерывной гонке мне, возможно, нечасто удавалось уловить саму себя. Я была стремительна.

Солнце клонилось к закату, скорбные, загоревшие за день родственники потихоньку потянулись в дом, и мы пошли следом. Мои запястья и щиколотки были охвачены венками из маргариток, а душа – мучительным страхом. Но он поселился там ненадолго, ведь мне было пять лет, и вскоре страх исчез. Смерть всегда представлялась мне в образе дедушки Адальберта Мэри, ушедшего в землю, но не покинувшего свой сад, и это вселяло надежду.

Что посеешь, то и пожнешь, даже и в смерти. Итак, я принялась сеять.

Глава вторая

Меня отстранили от работы, я была уволена – за полтора месяца до Рождества. На мой взгляд, вынуждать человека уйти в такое время в высшей степени несправедливо. Чтобы меня уволить, наняли сотрудницу из агентства, где их натаскивают сообщать подобные новости должным образом, чтобы работодателю проще было избежать скандала, судебного иска и прочих проблем. Она пригласила меня на ланч в тихое уютное местечко, подождала, пока я закажу салат «Цезарь», а себе взяла чашку черного кофе и преспокойно сидела напротив, наблюдая, как я едва не подавилась гренками, когда она обрисовала мне ситуацию. Уверена, что Ларри знал – я не приму это известие ни от него, ни от кого другого, попытаюсь его переубедить, влеплю ему иск или хотя бы пощечину. Он постарался обставить все так, чтобы я убралась вон, сохранив гордое достоинство, но ничего достойного гордости я в своем

положении не видела. Невозможно скрыть, что тебя уволили, я была вынуждена это обсуждать, а те, кто не задавал лишних вопросов, просто и так уже были в курсе. Я чувствовала себя уязвленной. И сейчас чувствую.

Свою трудовую жизнь я начала бухгалтером. В двадцать четыре года, молодая, но опытная, я пришла в Trent@Vogle, довольно крупную корпорацию, где проработала год, а затем неожиданно перешла в Start It Up. Там я консультировала предпринимателей, решивших открыть собственный бизнес, в том, что касалось финансов, и руководила индивидуальными проектами.

И там же я поняла, что о любом событии можно рассказать две истории – одну для публики, а другую – правдивую. Вот история, которую я рассказывала: проработав полтора года, я ушла, чтобы создать свой бизнес, потому что меня настолько вдохновляли мои клиенты, что мне страшно захотелось воплотить свои идеи в жизнь. А вот правда: мне так осточертели люди, неспособные хоть что-нибудь сделать правильно, что, движимая стремлением добиться результата, я основала свой бизнес. Он оказался столь успешен, что мне предложили его продать. И я продала. Потом организовала новый и опять-таки продала. Быстро нашла еще одну идею. На третий раз мне не пришлось даже особенно в нее вкладываться, покупателям так понравилась концепция, а может, они так боялись, что я составлю им сильную конкуренцию, что без промедлений ее приобрели. Тогда и началось наше с Ларри сотрудничество, а завершилось оно тем, что меня уволили – впервые за всю мою трудовую деятельность. Бизнес-концепт компании не был лично моей идеей, мы разработали его вместе, я была соучредителем и вынашивала это детище как свое. Я помогала ему расти. Наблюдала, как оно крепнет и набирается сил, расцветает сверх самых смелых ожиданий, а потом стала готовиться к тому моменту, когда мы сможем его продать. Но этого не случилось. Меня уволили.

Свою компанию мы назвали «Фабрика идей». Мы помогали различным организациям с их собственными большими идеями. Мы не были консалтинговой фирмой. Либо мы брали готовые идеи и доводили их до ума, либо придумывали свои, разрабатывали их, внедряли и контролировали вплоть до окончательной реализации. К числу таких идей относится, например, Daily Fix, газетка местных новостей, которую распространяли в кофейне. Она издавалась в поддержку окрестных предпринимателей, писателей и художников. Или, скажем, идея продавать мороженое в секс-шопе – она принадлежала лично мне и имела огромный успех. Когда в экономике наступил спад, наши дела, напротив, круто пошли вверх. Ибо если что и могло помочь компаниям удержаться на плаву

и выжить в новых обстоятельствах, так это способность оригинально мыслить. Мы продавали свое воображение, и мне это нравилось.

Сейчас, пользуясь тем, что у меня куча свободного времени, я анализирую свои отношения с Ларри и вижу, что они начали портиться уже задолго до окончательного разрыва. Я двигалась, быть может, без оглядки на его устремления, по проторенному маршруту, к пункту «Продажа», как уже трижды делала до того, а он хотел сохранить фирму. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это и была наша проблема, причем немаленькая. Думаю, что я слишком сильно напирала, слишком активно искала потенциальных покупателей, между тем в глубине души я знала, что это расходится с его интересами и не стоит так на него давить. Он был уверен, что «довести дело до ума» означает развивать его дальше, а я считала, что это означает продать его и начать что-то новое. У меня с детства выработался один взгляд на жизнь, у Ларри – другой. Я привыкла, что в конечном счете приходится расставаться, Ларри привык держаться своего. Достаточно посмотреть, как он ведет себя с женой и дочерью-подростком, чтобы понять: такова вообще его жизненная философия. Удержать, не дать уйти, это мое. Не ослаблять хватку, не выпускать из рук. Любой ценой.

Мне тридцать три года, в нашей компании я проработала четыре. У меня не было ни единого больничного, жалобы, нарекания, выговора или сомнительной сделки – во всяком случае, такой, которая отрицательно сказалась бы на доходах фирмы. Я всю себя отдавала работе и делала это весьма охотно, ведь это было в моих же интересах, но я ожидала, что получу что-нибудь взамен, честь по чести. Прежде я была убеждена, что личность уволенного сотрудника никак не страдает, но это потому, что меня никогда никто не увольнял, наоборот, увольняла я. Теперь я понимаю, что личность страдает, да еще как. Работа была моей жизнью. Друзья и коллеги всячески старались меня поддержать, и в итоге мне пришло в голову, что, если бы однажды у меня вдруг обнаружился рак, никто бы об этом не узнал, я бы предпочла справляться в одиночку. Они заставили меня ощутить себя жертвой. Смотрели так, точно мне пора садиться в самолет и улетать в Австралию, мысленно при этом сожалея, что я и там не сгжусь – слишком высокая квалификация, чтобы выращивать арбузы.

Прошло всего два месяца, а я уже сомневаюсь в своей востребованности. У меня нет цели, мне не на что опираться в том, что зовется жизнью «изо дня в день». Такое чувство, что меня просто изъяли из мира. Знаю, это ненадолго, потом я снова смогу исполнять свою роль, но сейчас я чувствую себя именно так. Всего

два месяца, даже чуть меньше, а мне уже смертельно надоело. Я деятельный человек, только делать мне особо нечего.

Все дела, с которыми я мечтала расправиться, пока жила в напряженном трудовом ритме, уже переделаны. На это хватило первого месяца.

Съездила в теплые края незадолго до Рождества, так что теперь я загорелая и простуженная.

Повидала подруг, все они нарожали детей и все в декретном отпуске, в продленном декретном отпуске или во «вряд-ли-я-вообще-вернусь-на-работу» отпуске. Мы ходили попить кофе, и мне странно было сидеть в кафе и болтать за жизнь посреди рабочего дня. Как будто я снова прогуливаю школу – просто замечательно... первые пару раз. Потом стало уже не так замечательно, и я начала обращать внимание на тех, кто приносил нам кофе, протирал грязные столики, готовил горячие бутерброды. Все они работали. Работали.

Я исправно курлыкала с младенцами своих приятельниц, хотя большинству из них это было безразлично – они лежали на цветных ковриках, которые шуршат и хрустят, если на них по случайности наступишь, и ничего толком не делали, просто задирали вверх пухлые ножки, сосали пальцы, переворачивались на живот и стремились перевернуться обратно. Забавно... первые десять раз.

Дважды за полтора месяца меня попросили стать крестной матерью, видимо, в надежде занять хоть чем-то безработную подругу. Оба приглашения были сделаны от чистого сердца, и я была тронута, но, если бы у меня была работа, меня бы не позвали – ведь тогда бы мы виделись куда реже, я бы не знала их детей и... и опять все возвращается к тому, что работы у меня нет. Меня нередко приглашают зайти, потому что совсем приперло и не к кому обратиться. Очередная мученица с невымытыми жирными волосами, потная и пропахшая детской отрыжкой, звонит мне и тихим бесцветным голосом, от которого у меня мурашки бегут по спине, сообщает, что ей страшно от того, что она с собой сделает, после чего я тут же мчусь посидеть с ребенком, пока она идет в ванну на десять блаженных минут. Я обнаружила, что возможность принять душ или спокойно посидеть в туалете бесценна для молодых матерей.

Я захожу в гости к сестре просто так, потому что вдруг захотелось повидаться. Раньше я себе этого никак не могла позволить. Это приводит ее в полнейшее

замешательство, и она беспрерывно спрашивает меня, который час, как будто я сбила ее внутренний хронометр.

Я сильно загодя накупила подарков к Рождеству. А также рождественских открыток, которые разослала вовремя – все двести штук. Я даже помогла отцу с его списком покупок. Я деятельна сверх меры и всегда такая была. Конечно, мне тоже приятно побездельничать – люблю съездить в отпуск на пару недель, поваляться на пляже и ничем вообще не заниматься, но только если я сама так решила, если это происходит по моей воле и я знаю, что потом меня снова ждет работа. Мне необходимо иметь цель. Необходимо к чему-то стремиться. Что-то преодолевать и чему-то способствовать. Мне необходимо что-то делать.

Я любила свою работу, но, чтобы как-то приободриться и поменьше переживать ее утрату, постаралась найти что-нибудь, о чем я потом сожалеть не буду.

Моими коллегами в основном были мужчины. По большей части самодовольные придурки, но были и забавные, и парочка приятных. Мне не хотелось встречаться ни с кем из них вне работы, и поэтому то, что я сейчас скажу, может показаться нелогичным, но это не так. Их было десять человек, и с тремя я переспала. В двух случаях из трех я об этом пожалела. Третий, о котором я не пожалела, очень пожалел об этом сам. Такие вот нескладушки.

Я не буду скучать о тех, с кем вместе работала. Люди раздражают меня больше всего на свете. Меня раздражает, что у большинства начисто отсутствует здравый смысл, что они пристрастны, необъективны, их поступки ошибочны, а убеждения ложны, они невежественны и опасны, так что слушать их порой просто невыносимо. И это не потому, что я ядовитая брюзга. Напротив, я ничего не имею против грубой, скажем так, неполиткорректной шутки, если она уместна и остроумна, а шутник в идеале еще и самокритичен. Но когда какой-нибудь кретин на голубом глазу изрекает «забавные» пошлости, в которые сам при этом верит, это не смешно, это отвратительно. И я терпеть не могу благостные споры о том, что хорошо, а что плохо. По мне, каждый и так должен это знать, с самого рождения. В детстве надо проходить проверку на подлость и получать прививку от глупости.

Отсутствие работы вынудило меня признать существование некоторых проблем, чрезвычайно меня раздражающих. Работа позволяла мне этого избегать, отвлекала от лишних мыслей. А теперь мне приходится думать, задаваться ненужными вопросами, искать возможность взаимодействия с тем, от чего я так

долго уклонялась. Это касается и соседей по району, где я поселилась четыре года назад. До того наше общение было сведено к нулю.

Касается это и сегодняшнего ночного происшествия. Не знаю, может, так бывало и раньше, а мне удавалось не обращать внимания. Впрочем, может быть, ситуация постепенно усугубилась или теперь, когда мне больше особо нечем заняться, я излишне остро на нее реагирую, то есть дохожу до белого каления. Как бы то ни было, а сейчас десять вечера, и уже минимум два часа как я в бешенстве.

Сегодня канун Нового года. И впервые в жизни я в этот вечер одна. Я сама так решила по нескольким причинам: прежде всего погода просто ужасающая и выходить на улицу чистое безумие. Мне и так чуть голову не оторвало, когда я открыла дверь, чтобы забрать у парня из службы доставки свою тайскую еду. Этот героический человек храбро сражался со стихиями, чтобы снабдить меня пищей, и у меня не хватило духу упрекнуть его, что пельмени и креветочные чипсы превратились в единое месиво. Он смотрел мне за спину, в тепло и уют гостиной, и в его взгляде было столько безнадежной тоски, что жалобы заглохли у меня на губах.

Ветер за окном воеет с такой лютой силой, что я всерьез опасаюсь, как бы он не сорвал крышу. У моих ближайших соседей беспрерывно хлопает калитка, и несколько раз я уж почти готова была выйти и закрыть ее, но боюсь, что уподоблюсь пустым банкам из-под пива, которыми ветер играет на боковой улочке. Такого урагана наша страна – то есть Ирландия – никогда в жизни не видела. И то же самое творится в Британии, да и Штатам прилично досталось. В Канзасе минус сорок, Ниагарский водопад замерз, над Нью-Йорком завис арктический антициклон, и там тоже собачий холод. В графстве Керри буря поднимает дома-автофургоны и швыряет на скалы, а овцы, прежде весьма крепко державшиеся на гористых склонах, проигрывают схватку с ураганом и валяются на побережье рядом с обессиленными тюленями. Предупреждают о наводнениях, жителям прибрежных районов рекомендуют не выходить из дома, улицы пусты, и лишь несчастные репортеры посиневшими губами ведут прямые трансляции с места событий. Дорога, по которой я могу добраться туда, куда мне нужно, уже два дня как затоплена. Именно в тот момент, когда мне бы хотелось проявить активность, когда мне необходимо себя чем-то занять, мать-природа вынуждает меня затормозиться до полной обездвиженности. Я знаю, чего она добивается: хочет, чтобы я кое о чем поразмыслила, и она в этом преуспела. Но поскольку все, что я о себе думаю, теперь начинается с «может

быть...», чего раньше никогда не случалось, то не знаю, насколько эти мысли верны.

От дома напротив сквозь завывание ветра порой доносится собачий лай, видимо, доктор Джеймсон опять забыл впустить своего пса. Либо он становится все более рассеян, либо у них в последнее время испортились отношения. Не знаю, как зовут это животное, но оно породы джек-рассел-терьер. Пес взял себе за правило забегать ко мне в сад и делать там свои делишки, а пару раз врвался в дом, так что приходилось ловить его и относить через дорогу, чтобы возвернуть достопочтенному хозяину. Я зову его «достопочтенным», потому что он весьма величественный джентльмен лет семидесяти, врач-терапевт на пенсии, возглавляющий, исключительно «из любви к искусству», бесчисленное множество всяких обществ: любителей шахмат, бриджа, гольфа, крикета, а теперь он президент местной управляющей компании, которая отвечает за уборку листьев, замену перегоревших лампочек в уличных фонарях, охрану и всякое такое. Он всегда подтянут, брюки идеально выглажены, рубашки безукоризненно сочетаются по цвету со свитерами с V-образным вырезом, ботинки начищены, а прическа волосок к волоску. Разговаривая со мной, он адресует свои реплики куда-то поверх моей головы, слегка задрав крепкий подбородок и внушительный нос, – как актер в любительском театре, однако он никогда не бывает откровенно груб, лишая меня возможности наругать в ответ, и мне остается только проявлять холодную сдержанность. Я вообще проявляю ее со всеми, в ком не могу до конца разобраться. Надо сказать, что разобраться я вовсе и не жажду, более того, месяц назад я знать не знала, что у доктора Джеймсона есть собака, но теперь, похоже, мне известно о моих соседях куда больше, чем хотелось бы.

Чем дальше лает терьер, тем больше я тревожусь – а не сбил ли ураган доктора Джеймсона с ног или, того хуже, не зашвырнул ли он его на соседский задний двор, как большую игрушку? Я слышала про девочку, которая, выглянув поутру в окно, обнаружила у себя в саду качели и горку. Она уж было решила, что это подарки от Санта-Клауса, но выяснилось, что их сорвало ветром во дворе за сто метров вниз по улице.

Мне не слышен шум вечеринки по соседству, но зато я все отлично вижу. У мистера и миссис Мерфи, как обычно, на Новый год веселое застолье. Оно всегда начинается и заканчивается народными ирландскими песнями, мистер Мерфи играет на бойране, а миссис Мерфи поет – так тоскливо, точно сидит в неурожайный год посреди поля с гнилым картофелем. Остальные гости им

вторят: полное ощущение, что все они плывут в утлом челне к берегам Америки, их бросает от борта к борту, и все запасы провианта они давно подъели.

Ветер уносит их песни, и меня это ничуть не огорчает, но взамен он приносит шумные вопли другой веселой компании, собравшейся где-то в доме за углом. Их я как раз не вижу, зато до меня долетают обрывки фраз каких-то ненормальных, которые в такую погоду выходят покурить на крыльцо. Голоса проникают ко мне сквозь дымовую трубу вместе с громко ухающей музыкой, но большая часть несется дальше в безумной круговерти с сорванными листьями.

Меня позвали на три разные вечеринки, но я решила, что нет ничего кошмарнее, чем искать в новогоднюю ночь такси да и вообще таскаться куда бы то ни было по такой погоде. И потом, по телевизору наверняка покажут нечто грандиозное, вот я в кои-то веки и посмотрю праздничное шоу. Я поплотнее кутаюсь в кашемировый плед, прихлебываю красного винца и с удовольствием думаю, что правильно поступила, оставшись дома в гордом одиночестве, а не ринулась, как сумасшедшая, на поиски удовольствий. Ветер ревет с удвоенной силой, я тянусь за пультом, чтобы сделать звук погромче, и в этот самый момент по всему дому вырубается свет, а заодно и телевизор. Все погружено во мрак, и только сердито пищит охранная сигнализация.

Беглого взгляда в окно достаточно, чтобы убедиться – электричества нет во всех окрестных домах. В отличие от своих соседей я не озаботилась покупкой свечей. А посему мне приходится на ощупь подниматься по лестнице и в десять часов вечера забираться в кровать. Н-да, все отключено, включая и меня. Смешно. Я смотрю новогоднее шоу по айпаду, пока он не разряжается, потом слушаю музыку с айпода, но и у него катастрофически быстро дохнет батарейка, после чего я хватаю лэптоп, и, когда он умирает, мне хочется плакать.

С дороги доносится шум подъезжающей машины, и я знаю, что действие начинается.

Вылезаю из кровати и широко раздвигаю занавески. Фонари не горят, кое-где в окнах мерцают огоньки свечей, но почти всем моим соседям уже за семьдесят и они спят. Я уверена, меня нельзя заметить, ведь и в моем доме темно, а значит, я могу стоять у окна, раскрыв занавески, и свободно смотреть спектакль, который сейчас будет разыгран.

Я гляжу в окно. И вижу тебя.

Глава третья

Я не из тех, кто выслеживает знаменитостей и пристально наблюдает за каждым их шагом, но тебя трудновато не заметить. Ты выходишь на арену, чтобы исполнить сольный номер, а мне ничего не остается, кроме как быть зрителем. Мы живем через дорогу, мой дом прямо напротив твоего. Дорога заканчивается тупиком. Наш пригородный поселок в Саттоне, что в Северном Дублине, был построен в семидесятые годы на американский манер. Перед домами большие лужайки, никаких заборов или живых изгородей, никаких ворот, ничего, что мешало бы подойти к самым окнам. Задние дворики невелики и зачастую выглядят весьма скромно. Но палисадники, которые смотрят на улицу, для всех здешних жителей предмет гордости и повод для самоутверждения. Они содержат их в идеальном порядке, непрерывно что-то подстригают, удобряют, поливают и не оставляют без надзора ни единого живого клочка. На нашей улице, если не считать моего и твоего дома, живут одни пенсионеры. И все они бесконечно торчат на своих лужайках, а потому прекрасно осведомлены о том, кто куда и когда пришел. Я – нет. И ты – нет. Мы не садоводы и не пенсионеры. Тебе, наверное, лет на десять побольше, чем мне, но на тридцать поменьше, чем нашим соседям. У тебя трое детей, я точно не знаю, сколько им, но думаю, старшему примерно четырнадцать, а младшим еще нет десяти.

О тебе не скажешь, что ты хороший отец, я никогда не видела тебя с детьми.

Ты уже жил здесь, когда я въехала в свой дом, и ты всегда безумно меня раздражал, но каждый день я уходила на работу, мне было чем заняться, я знала, что на свете есть вещи и поважнее – они-то и удерживали меня от того, чтобы высказать свое негодование, пойти жаловаться или просто дать тебе в морду.

Сейчас у меня такое ощущение, будто я живу в аквариуме и все, что мне из него видно и слышно, – это ты. Ты, ты, ты. Итак, два часа ночи, по твоим меркам, время еще очень божеское. Я у окна, в ожидании очередного маразматического спектакля. Устраиваюсь поудобнее, ставлю локти на подоконник и подпираю

лицо ладонями. Сегодня ты задашь жару, как-никак Новый год, а ты ж у нас Мэтт Маршалл, диджей ведущей ирландской радиостанции, и мне, хочешь не хочешь, пришлось тебя слушать нынче ночью, пока айпод не сдох. Ты, как всегда, был навязчив, мерзок, гадок, отвратен, гнусен, паскуден и тошнотворен. «Рупор Мэтта Маршалла» идет в прямом эфире с одиннадцати вечера до часу ночи, и у тебя огромная аудитория. Самая большая в Ирландии. Вот уже десять лет подряд твоя передача – лидер ночных ток-шоу. Я понятия не имела, что ты живешь на этой улице, но, когда твой голос впервые донесся до меня через дорогу, сразу поняла – это ты. Так оно обычно и бывает, тебя все немедленно узнают, и многие страшно радуются, но только не я.

Мне все в тебе отвратительно: твои взгляды, твои идеи, споры, которые ты так умело провоцируешь, якобы для того, чтобы заострить проблемы. Но на самом деле ты подстрекаешь людей, они, наоборот, впадают в дикую злобу и доходят до полного умоисступления. Ты притворяешься, будто помогаешь им выпустить пар, даешь свободно выговориться, но это свобода ярости, расизма и ненависти. И за это я не люблю тебя в принципе. А в частности я тебя презираю. За что, расскажу позже.

Как водится, ты проехал по нашей тихой улице для престарелых со скоростью шестьдесят километров в час. Ты купил свой дом у пожилой пары, которая решила перебраться в жилище попроще и подешевле, а я – у скончавшейся вдовы, точнее, у ее детей, нуждавшихся в наличных. Это я удачно сделала, цены тогда упали, и многие брали все подряд в надежде, что они потом снова подрастут. Я твердо намерена полностью расплатиться по ипотеке, чтобы исполнилась мечта, которую я лелею с пяти лет: уж что мое, то и впрямь мое, не желаю зависеть ни от чужой милости, ни от чужих ошибок.

Наши с тобой дома и образ жизни плохо сочетаются с местными патриархальными устоями. Управляющая компания долго с нами по этому поводу воевала, но в итоге удалось найти компромисс. Снаружи у нас все как у всех, но внутри мы многое полностью изменили и модернизировали, а я, кроме того, посягнула на палисадник, за что и расплачиваюсь по сей день. Ну, об этом тоже потом.

Ты затормозил впритык у дверей гаража, вышел из машины, мотор не заглушил, радио орет на полную мощность – все как всегда. Уж не знаю, делаешь ты это по забывчивости или просто не планируешь задерживаться. Темно, только свет твоих фар освещает улицу, и это создает дополнительный сценический эффект –

ты в огнях рампы.

Несмотря на ветер, мне отлично слышно, что поют «Ганз н' Роузес» у тебя в машине. Это «Город-рай», запись 1988 года. Должно быть, тот год был для тебя удачным. Мне тогда было восемь, а тебе восемнадцать или около того, и они наверняка были у тебя на футболках и на школьной сумке, и ты, конечно, курил траву и зажигал ночи напролет, и знал все их песни наизусть, и орал их в ночное небо. Вероятно, тогда ты был свободен и счастлив, раз они всегда звучат у тебя в машине, когда ты приезжаешь домой.

Я вижу, что в спальне у доктора Джеймсона загорелся свет. Похоже, это карманный фонарь, потому что луч мечется взад-вперед, как будто тот, кто его держит, не знает толком, куда светить. Пес теперь лает как безумный, и я надеюсь, доктор наконец впустит его, а то как бы завтра утром какая-нибудь девочка не обнаружила, что Санта принес ей на задний двор обалдевшего на всю голову джек-рассел-терьера. Фонарик бродит по комнатам наверху. Доктор Джеймсон, очевидно, вообще предпочитает быть выше всех. Я поняла это из разговора с мистером Мэлони, который живет в соседнем доме. Он постучался ко мне, чтобы сказать, что скоро подъедет мусоровоз, а я, как он заметил, не выставила на дорогу мешки с мусором. Похоже, они с доктором Джеймсоном не в ладах – оба хотят возглавлять нашу управляющую компанию. Про мешки я действительно забыла, потому что, перестав ходить на работу, перестала различать дни недели, но меня разозлило, что он счел возможным заявиться со своими напоминаниями.

Полтора месяца назад этого бы не случилось. И я бы не забыла, и мистер Мэлони не рискнул бы ко мне постучать.

Ты дергаешь ручку входной двери и с искренним негодованием обнаруживаешь, что она на замке – ни тебе, ни вооруженному грабителю не удастся посреди ночи свободно войти в дом. Ты звонишь – настойчиво, длинными яростными очередями, будто не на кнопку жмешь, а на гашетку пулемета. Не бывает такого, чтобы жена или кто-то из детей открыл тебе сразу. Не знаю, может, они так крепко спят, привыкнув ни на что не реагировать? Или, наоборот, сбились все в одной комнате, дети испуганно всхлипывают, а мать говорит, что не надо тебя впускать? Как бы то ни было, никто не выходит. Тогда ты начинаешь колотить в дверь. Это твое любимое упражнение, ты каждую ночь что есть силы долбишь свою бедную дверь, давая выход накопившейся злости. Затем обходишь вокруг дома и стучишь во все окна подряд. И при этом тянешь

с насмешливой издевкой:

– Я зна-а-ю, ты там.

Как будто она притворяется, что ее там нет...

По-моему, она как раз довольно внятно дает тебе понять, что к чему. И не важно, спит она или затаилась в надежде, что ты все-таки уберешься прочь. Я так думаю, скорее второе.

Тогда ты начинаешь издавать протяжные вопли. Я знаю, она это ненавидит, твои вопли бесят ее больше всего остального, может быть, потому, что голос у тебя громкий, хорошо поставленный, а главное – узнаваемый. Впрочем, никому из соседей и в голову бы не пришло, что на улице есть другая семейная пара, так театрально выясняющая отношения. Странно, что ты этого до сих пор не понял и попусту тратишь силы на то, что не может ее пронять. Уж переходил бы сразу к воплям. Однако впервые за все время моих наблюдений твоя жена проявляет стойкость. И ты изобретаешь нечто новенькое. Возвращаешься в машину и принимаешься тупо, безостановочно сигналить.

Фонарик в доме доктора Джеймсона перемещается на первый этаж. Надеюсь, он не собирается выйти и попытаться тебя утихомирить. Ведь ты явно настроен побоевому. У доктора Джеймсона открывается дверь, и я невольно хватаюсь за голову – что же мне, бежать на улицу и останавливать его? Но я не желаю во всем этом участвовать! Ладно, пока просто посмотрю, как все обернется, а если дело дойдет до драки, то вмешаюсь... хотя ума не приложу, какой от меня будет толк. Дверь нараспашку, а доктора пока не видать. Зато из-за угла на всех парах вылетает его пес, несется сломя голову по скользкой влажной траве, чуть не падает, но ходу не сбавляет. Стремительно врывается в дом, и дверь тотчас захлопывается. Я не могу удержаться и тихонько смеюсь.

Ты, наверное, слышал, как хлопнула дверь, и решил, что это твоя жена, потому что сигналить ты перестаешь, и ночную тишину теперь нарушают только «Ганз н' Роузес». Уже и на том спасибо. Эти гудки – самое гнусное, что ты мог придумать. Похоже, твоя жена дожидалась, пока ты слегка уймешься, и теперь наконец решила тебя впустить. Дверь открылась, и она вышла на крыльцо в одной ночнушке, даже куртку не набросила. Чувствуется, что она на пределе. Позади нее маячит чья-то тень. Сначала я было подумала, что у нее кто-то есть,

и всерьез испугалась, что сейчас случится нечто ужасное, но потом разобрала, что это твой старший сын. Он как-то резко повзрослел, видно, что он готов ее защищать как настоящий мужчина. Она говорит, чтобы он остался дома, и он подчиняется. Это меня радует. Не надо давать тебе лишнего повода, ты и так уже на взводе. Как только ты ее видишь, тут же выскакиваешь из машины и начинаешь орать: за каким чертом она заперла дверь и не пускает тебя в собственный дом? Ты всегда орешь на нее за это. Она пытается успокоить тебя, подходит к джипу и вынимает ключ из замка зажигания, музыка затыкается, мотор глохнет, и фары гаснут. Она трясет этой связкой ключей у тебя перед носом, говорит – вот он, ключ от дома, протри глаза. Могла бы и не говорить. Ты и так это знаешь.

Но я знаю, и она знает, что, когда ты пьян, бессмысленно взывать к твоему разуму, ты охвачен безумием. И всякий раз ты твердо убежден, что дверь заперта изнутри и открыть ее невозможно – тебя нарочно не хотят впустить. Весь мир ополчился против тебя, более того, твой дом против тебя, и ты должен попасть внутрь чего бы это ни стоило.

На мгновение ты замираешь, изумленно таращишься на болтающиеся перед глазами ключи, а потом, пошатнувшись, обрушиваешься на нее, заключаешь в объятия и целуешь куда ни попадя. Твоего лица я не вижу, зато вижу ее лицо. Оно выражает безмерную молчаливую муку. Ты смеешься и, проходя мимо сына, ерошишь ему волосы, как будто все это была просто шутка, и я ненавижу тебя еще сильнее – за то, что ты даже извиниться не можешь. Ты ни разу этого не сделал, во всяком случае, я не видела. Как только ты заходишь в дом, нам дают свет. Ты оборачиваешься и видишь меня в окне, в спальне зажглись все лампы, я выставлена напоказ, превратившись из тайного соглядатая в явного.

Ты долго, пристально на меня смотришь, потом с грохотом захлопываешь дверь, и, после всего что натворил сегодня ночью ты, потусторонней идиоткой чувствую себя я.

Глава четвертая

Во время рождественских каникул я была в отличном настроении – никто не работал, мы были на равных. Не я одна болталась без дела, все вокруг отдыхали,

и мы ничем друг от друга не отличались. Но теперь каникулы закончились, народ вернулся к делам, а я снова впала в мрачность.

Поначалу, когда меня уволили, я была просто потрясена, весь мой организм переживал настоящий шок, а потом наступил период затяжной печали, когда я оплакивала утрату прежней жизни. Мне было обидно, до ужаса обидно. Я-то считала, что мы с Ларри не только коллеги, но и друзья. Каждый Новый год мы вместе ездили кататься на лыжах, в июне я проводила недельку с ним и его семейством в их загородном доме в Марбелье, на юге Испании. Меня приглашали на домашние праздники, я была допущена в самый близкий семейный круг. Да, мы с ним нередко яростно спорили, но мне в голову не могло прийти, что он так себя поведет, что посмеет меня вышвырнуть.

Позлившись и пообижавшись, я постепенно пришла к мысли, что на самом деле ничего плохого со мной не произошло. Мне не нравилось, что я впала в такую безысходность всего лишь оттого, что меня уволили. Это не мне нужна была моя работа, это я была ей нужна – и тем хуже для нее, что она меня потеряла. Потом пришло Рождество, а вместе с ним и всяческая светская жизнь. Я ходила на вечеринки, обедала с друзьями, веселилась и пила шампанское, настроение было легкое, радостно-приподнятое, и на время я забыла о своих печалях. Но сейчас уже январь, и на душе у меня так же серо и пасмурно, как на улице.

Я никчемна, никому не нужна и ни на что не гожусь. Мне кажется, моя самооценка упала почти до нуля. Меня ограбили – лишили привычного режима, отняли мой тщательно распланированный распорядок, все то, что прежде определяло каждый мой день с утра и до вечера. Придумать что-нибудь взамен очень сложно, у меня нет обязательств, и мне невыносимо видеть, как все вокруг уверенно маршируют, подчиняясь ритму своих важных дел. А еще меня все время мучит голод и в прямом, и в переносном смысле. Меня гложет желание куда-то пойти, что-то сделать, но, кроме того, я непрерывно ем: кухня рядом, вот она, а заняться мне больше нечем. И я жру целыми днями. И по ночам тоже. Мне скучно. И, как ни горько в этом признаться, одиноко. Бывает, я целый день провожу совсем одна, ни с кем не перемолвившись ни единым словечком. Иногда мне кажется, что я стала невидимкой. Ловлю себя на том, что делаюсь похожа на стариков, которые подолгу торчат у кассы в супермаркете, болтая с кассиршей ни о чем. Раньше они меня раздражали, я изнывала у них за спиной от нетерпения, ведь меня ждали неотложные дела.

Когда тебе некуда пойти, время начинает течь поразительно медленно. Я стала замечать окружающих, чаще ловлю на себе посторонние взгляды и даже ищу, с кем бы установить зрительный контакт. Хотя бы зрительный. А если удастся еще и поболтать... считай, день не зря прошел, насыщенный событиями. Но все спешат, все заняты, и я кажусь себе невидимкой. Это совсем не так приятно, как мне думалось раньше, когда я старалась быть незаметной, неуловимой, и от этого возникало ощущение легкости и свободы. А теперь, наоборот, гнетущей тяжести. Я влачу унылое существование, старательно себя убеждая, что я легкая, видимая, даже бросающаяся в глаза, жизнерадостная и очень нужная. Полноценная, свободная личность. Но мне плохо удается себя в этом убедить.

Еще одна неприятность, вызванная потерей работы, – это неожиданные визиты моего отца. Он навещает меня без приглашения, экспромтом.

Вернувшись домой, я обнаруживаю его и свою сводную сестру Зару у себя во дворе. Заре три года, отцу шестьдесят три. Три года назад он ушел на покой: продал свой издательский бизнес за очень приличные деньги, позволяющие ему жить с комфортом. Как только родилась Зара, он взял на себя все заботы о ней, стал, так сказать, практикующим отцом. Его жена Лейла ведет занятия по йоге, у нее свой зал. Замечательно, конечно, что папа получил второй шанс, снова кого-то полюбил и в полной мере ощутил, что такое настоящее отцовство, впервые в жизни. Он и подгузники менял, и по ночам вставал, и кашу варил, и делал, что там еще необходимо делать, когда у тебя маленький ребенок. Его буквально распирает от гордости, что у него такая потрясающая дочь, он сияет, когда говорит о ее удивительных достижениях. Она растет, она умеет ходить и разговаривать. Она такая талантливая, он способен часами рассказывать, что она сегодня сделала и что сказала, и какую картинку нарисовала – прямо чудо, в ее-то возрасте! Да, это, безусловно, замечательно. Прелестно. Но все это он делает, как в первый раз, как человек, у которого никогда ничего подобного в жизни не было.

Последние месяцы я начала об этом задумываться – благо времени у меня предостаточно. Удивительно, что же он раньше так не восторгался, почему не впадал в экстаз, когда мы с Хизер были маленькие? Ну или он очень умело прятал свое восхищение за маской недовольства и раздражения. Иногда, когда он в очередной раз расписывает необычайные способности Зары, мне хочется заорать в ответ, что другие дети тоже так умеют, представь себе, папа, например, мы с Хизер делали все то же самое, а значит, и мы были необыкновенные. Но я сдерживаюсь. Это выставило бы меня злобной

неврастеничкой, а я вовсе не такая, и вообще нечего скандалить на пустом месте. Я говорю себе, что это все от безделья – заняться нечем, вот и лезут в голову мрачные мысли.

Я часто думаю: если бы мама была жива, как бы она отнеслась к тому, что он стал заботливым, преданным мужем и отцом? Иногда она отвечает мне так, как в свои последние дни – ласково, всепрощающе, мудро, а иногда я слышу усталый голос измученной матери-одиночки, и слова ее наполнены горечью и злостью. То, что я слышу, зависит от моего собственного настроения. Мама умерла от рака груди в сорок четыре года. Слишком рано, чтобы умирать. Мне было девятнадцать. Слишком рано, чтобы осиротеть. Конечно, ей было очень тяжело, она не готова была покидать этот мир. Ей еще столько хотелось увидеть, столько сделать, ведь она все откладывала на потом, дожидаясь, пока я закончу школу, повзростею и она сможет пожить своей жизнью. Она не завершила свои земные дела, строго говоря, она даже не успела многие из них начать. Первого ребенка она родила в двадцать четыре, через год второго, незапланированного. То есть меня. Она нас вырастила и сделала для нас абсолютно все, и несправедливо, что у нее не осталось кусочка жизни на себя саму.

Когда она умерла, я жила в кампусе, а Хизер осталась в интернате, куда переехала, когда мама еще проходила терапию. Иногда мне непонятно, как я могла быть такой эгоисткой и не забрать Хизер к себе. Кажется, я ей даже не предлагала. Понятно, что мне нужно было устраивать свою жизнь, но удивительно – в тот момент это вообще не пришло мне в голову. Я не сделала ничего плохого, но плохо, что я даже не подумала об этом. Оглядываясь назад, я понимаю, что и маме могла бы помогать больше. А я оставила ее справляться с проблемами в одиночку. Я могла бы проводить с ней больше времени, чаще разговаривать – тогда, когда она была жива, а не теперь, когда ее уже нет. Но подростков ничего, кроме них самих, не интересует, и потом с мамой была моя тетя.

Мы с Хизер «ирландские близнецы», то есть погодки. Она при этом обращается со мной так, словно я младше на много-много лет, и это очень трогательно. Я знаю, что родилась «случайно», у мамы не было намерения рожать еще одного ребенка сразу после появления на свет Хизер. Мама была огорошена, а папа просто в ужасе: мало ему было одного младенца, да еще с синдромом Дауна, а тут и второй на подходе. Хизер его пугала, он не знал, как себя с ней вести. Когда я родилась, он стал все больше отдаляться от семьи, предпочитая общество тех женщин, у которых хватало сил и времени, чтобы его холить

и лелеять.

Зато мама держалась на редкость решительно и стойко, хотя потом она и признавалась, что у нее «поджилки тряслись от страха». Я этого никогда не замечала, не видела, чтобы она колебалась или сделала неверный шаг, впечатление было такое, что у нее все под контролем. Она много шутила и всегда просила прощения, если считала, что неправа. Я переняла это у нее. Я твердо знала, что Хизер важнее, что ей нужно больше внимания, но никогда не чувствовала, что меня любят меньше, просто так уж оно сложилось. Когда мама умирала, я знала: если кого она и не хочет здесь покидать, так это Хизер. Хизер нуждалась в ней, у мамы были насчет нее планы, которые она не успела исполнить, и она страшилась оставлять свою старшую дочь одну в этом мире. И это нормально, я все понимаю. Сердце у меня разрывалось, и не только от жалости к себе, но и к ним обоим тоже.

Есть стереотипное мнение, что люди с синдромом Дауна непременно беззаботные и лучезарные. Хизер не такая, у нее, как и у всех нас, бывают плохие и хорошие дни, но в принципе – и это не имеет никакого отношения к синдрому Дауна – она оптимист. Ее жизнь подчиняется строгому распорядку, ей это необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно, вот почему, когда я заявляюсь к ней с бухты-барухты, на работу или домой, она теряется и даже начинает нервничать. Хизер нужен режим, твердое расписание, и в этом, как и во многом другом, мы с ней полностью схожи.

Зара прыгает по камням, которыми вымощен двор, стараясь не наступать на выемки между ними. Настаивает, чтобы папа прыгал вместе с ней. Он прыгает. Я знаю, что теперь для него это в порядке вещей, но все равно, глядя, как он скачет, потряхивая животиком и с трудом сохраняя равновесие, не могу удержаться от мысли, что этот человек мне незнаком. Он поднимает голову и видит, что я направляюсь к ним.

– Не знала, что вы зайдете, – беспечно говорю я.

Перевод: ты меня не предупредил, ты обязан был это сделать.

– А мы решили прокатиться по побережью, посмотреть на прибой, правда, Зара? – Он подхватывает ее на руки. – Расскажи Джесмин, какие мы с тобой

видели волны.

Он всегда говорит со мной через нее. Да, такая манера есть у многих родителей, но меня бесит, что он так делает. Я бы предпочла общаться с Зарой сама, а не под его диктовку. В итоге мне приходится дважды выслушивать одно и то же.

- Волны были огромные, правда? Расскажи Джесмин, какие они были.

Она кивает. Делает большие глаза и задирает руки, чтобы показать мне - да, волны были о-го-го.

- А как они бились о скалы? Расскажи Джесмин.

Она опять кивает:

- Они бились.

- И заливали весь пляж, а потом выплескивались на дорогу. Где это было? В Малахайде, да? - Он говорит специальным «детским» голосом, а я думаю, что уж лучше бы взял и попросту рассказал все сам.

- Ну надо же.

Я улыбаюсь Заре и протягиваю к ней руки. Она немедленно перебирается ко мне, обхватывает меня, как обезьянка, длинными худенькими ножками и прижимается всем тельцем. Я ничего не имею против Зары. Она милая. Нет, она чудесная. Замечательная во всех отношениях, и я ее обожаю. Она ни в чем не виновата. Вообще никто ни в чем не виноват, потому что ничего и не случилось, разве что меня слегка раздражает новая папина мода приходить без предупреждения, но и в этом ничего такого нет, нечего себя попусту накручивать.

- Как поживаешь, ножки-макарошки? - спрашиваю я, отпирая дверь. - Мы же с тобой с прошлого года не виделись!

Я болтаю, а сама поглядываю на твой дом. Ничего не могу с собой поделать, это вошло у меня в привычку. Натуральный обсессивно-компульсивный бзик - перед

тем как сесть в машину, или войти в дом, или просто оказавшись у окна, я непременно должна посмотреть туда. Причем днем там ничего не происходит, во всяком случае с твоим участием. А так, конечно, периодически я вижу твою жену, и дети шастают по своим делам. Иногда я вижу, как ты раздвигаешь занавески или идешь к машине, но это все. Сама не знаю, что я там высматриваю.

- Ты рассказала папе, какие мы с тобой кексики испекли на той неделе? - спрашиваю я у Зары.

Она снова кивает, и я понимаю, что веду себя в точности как отец. Наверняка эта идиотская манера сбивает ее с толку, но, как видно, я успела заразиться.

Так мы с папой и общаемся, используя ее как посредницу. Обращаемся к ней, вместо того чтобы напрямую разговаривать друг с другом. И я рассказываю Заре, что на Новый год у нас отключили свет, что я встретила в супермаркете Билла Галлахера, он, оказывается, вышел на пенсию, и еще кучу всякой ерунды, которая ей на фиг не нужна. Некоторое время она нас слушает, потом ей это надоедает, и она убегает играть.

- Твой друг опять вляпался в неприятности, - замечает папа.

Мы пьем чай с печеньем, оставшимся от моих гигантских рождественских запасов, которые я методично уничтожаю, и смотрим, как Зара роется в ящике с игрушками - я держу их специально для нее. Она высыпает на пол коробку с лего, и я не могу разобрать, что он говорит.

- Какой друг? - встревоженно спрашиваю я.

Папа кивает головой на окно, из которого виден твой дом.

- Ну, этот тип, как его зовут-то?

- Мэтт Маршалл? Он мне не друг, - возмущаюсь я. Что ж такое, нигде от тебя нет спасенья.

- Ну, тогда твой сосед. - Он пожимает плечами, и мы оба снова смотрим на Зару.

Повисает такое долгое молчание, что я наконец не выдерживаю и говорю, что первое в голову пришло:

- А что он сделал?

- Кто? - очнувшись, спрашивает папа.

- Мэтт Маршалл, - сквозь зубы цежу я. Меня злит, что я вроде как проявляю к тебе интерес.

- А, этот. - Такое впечатление, что мы час назад это обсуждали. - На него куча жалоб за новогоднее шоу.

- На него всегда куча жалоб.

- Ну, на этот раз, похоже, их больше обычного. Все газеты о нем написали.

Мы снова умолкаем, и я думаю о твоём шоу. Ненавижу его, никогда не слушаю. Точнее, раньше не слушала, а в последнее время начала, мне стало интересно, вдруг есть прямая зависимость между тем, что ты обсуждаешь, и состоянием, в котором возвращаешься домой, потому что ты не каждый вечер надираешься в лоскуты. Только три-четыре раза в неделю. В любом случае, пока что никакой взаимосвязи не обнаружилось.

- Он, видишь ли, решил встретить Новый год под звуки женского...

- Знаю, знаю, - поскорее перебиваю я. Не хочу, чтобы отец произносил это слово - оргазм.

- Я так понял, ты не знаешь, - оцетинивается он.

- Я не слышала саму передачу, я слышала о ней, - мямлю я и иду к Заре играть в лего. Мы собираем довольно странное существо, я говорю, что это динозавр и он сейчас нападет. С моей помощью динозавр легонько кусает Зарины ножки, щекочет ее, а потом сражается с отважным принцем (для «прекрасного» у него слишком много острых углов) и выпускает дух с диким ревом. Она весьма довольна, и я возвращаюсь за стол, к отцу.

Два слова о твоём праздничном шоу. Кому-то из вашей команды, тебе, наверное, пришла в голову светлая мысль встретить Новый год под стоны кончающей женщины. Отличный подарок всем слушателям, и «спасибо, друзья, за вашу поддержку». Потом ты устроил блиц-тест: кто отличит стоны при настоящем оргазме от притворных. Потом содержательная дискуссия о мужчинах, имитирующих оргазм во время секса. На самом деле ничего ужасного, на мой взгляд, в этой программе не было, уж по крайней мере в сравнении с тем дерьмом, которое у тебя нередко обсуждается. Я, например, и не знала, что мужчины тоже имитируют оргазм, так что в каком-то смысле это было даже познавательно – мне вспомнился тот коллега, с которым мы переспали, о чем он жалел, а я нет. Возможно, пара-тройка тех, кто тебя слушал, кое-что полезное и узнали... хотя говнюки, которых ты позвал в студию в качестве экспертов, мало чему способны научить. Может показаться, что я тебя отчасти защищаю. Нисколько. Просто говорю, что это было не худшее шоу. Вопрос о том, может ли общество считать себя оскорбленным, если его поздравили с Новым годом сладострастными воплями, не ко мне.

– И какие у него неприятности? – спрашиваю я.

– У кого это? – не понимает папа, и я мысленно считаю до трех.

– У Мэтта Маршалла.

– А-а. Его уволили. Или временно отстранили. Точно не знаю. В общем, выдворили вон. Ну, пора и честь знать, сколько он уже на радио торчит. Найдут кого-нибудь помоложе.

– Ему всего сорок два, – говорю я.

И опять я как будто тебя защищаю, но в этом нет «ничего личного». Мне тридцать три года, я хочу найти новую работу, и поэтому меня волнует проблема возраста. Вот и все.

Мысль о том, что тебя отстранили, поначалу доставляет мне живейшую радость. Я всегда тебя терпеть не могла, надеялась, что твою программу закроют... но теперь вдруг мне не кажется, что это не так уж и здорово. Наверное, это из-за твоих детей и жены – она славная, я каждое утро приветственно машу ей рукой.

– Выяснилось, что в студии и правда была женщина. – Папа несколько смущен.

– Ну, судя по голосу, никак не мужчина.

– Да нет, просто она на самом деле... ну, ты понимаешь. – Он многозначительно смотрит на меня, но я понятия не имею, о чем он.

Повисает пауза.

– Она мастурбировала. Прямо в студии.

У меня кишки сворачиваются – и оттого, что мы обсуждаем это с отцом, и оттого, что я себе представляю, как ты дирижируешь процессом, чтобы кульминация пришлась ровно на двенадцать ночи, а твои помощники суеются вокруг, как идиоты.

Ненависть к тебе возвращается с удвоенной силой.

Я сажаю Зару в креслице на заднем сиденье и чмокаю ее в нос-кнопочку.

– В общем, могу поговорить с Тедом, если хочешь, – неожиданно заявляет папа, как будто продолжая начатый разговор, хоть я и не припомню, чтобы мы это обсуждали.

Я хмурю лоб.

– Кто такой Тед?

– Тед Клиффорд, – небрежно пожимает плечами папа.

Меня моментально захлестывает такая дикая злость, что я боюсь, как бы она не выплеснулась наружу.

Тед Клиффорд – человек, которому отец продал свою компанию. В удачные времена, как он сам говорит, мог бы продать и втрое дороже, но сейчас времена

неудачные, и он согласился на предложение Теда. Сумма вполне приличная, отцу хватает на летний месяц у моря с женой и дочкой, а также ужины в ресторане четыре раза в неделю. Я не знаю, выплатил ли он ипотеку, и меня это раздражает. Это было бы первое, что бы сделала я. Мы с Хизер к его деньгам касательства не имеем, и меня это не напрягает. В финансовом плане у меня сейчас все о'кей, а вот о Хизер я беспокоюсь. Она должна быть защищена. И поэтому, как только я заработала достаточно денег, тут же выкупила квартиру, которую она снимала. Так что у Хизер уже пять лет имеется собственное жилье - огромный плюс для нее да и вообще для кого угодно. С ней живет ее подруга, она же помощница, которая замечательно о ней заботится, они отлично ладят, что не мешает мне волноваться о Хизер каждый день и каждый миг. Квартиру я купила недорого - тогда все стремились избавиться от лишней недвижимости, чтобы свести к минимуму затраты. Когда отец отошел от дел, я полагала, что он тоже будет придерживаться разумной экономии, а он вместо этого купил дом в Испании. Он считал, что Хизер отлично живется в интернате, но я-то знала, она мечтает имеет собственный угол, а потому сама этим занялась. Опять-таки, я не злюсь, в принципе все нормально, но просто сейчас у меня несколько искаженное восприятие, и справиться с этим я не могу... мне не на что переключиться.

- Нет, - коротко отвечаю я. - Спасибо.

Закрыли тему.

Он глядит на меня так, будто хочет сказать что-то еще, и, чтобы его остановить, я добавляю:

- Я не нуждаюсь в том, чтобы ты искал мне работу.

Гордость моя. Тебя так легко уязвить. Любая помощь мне ненавистна. Я все всегда должна делать сама. Он это предложил - и я тут же ощутила себя слабой и подумала, что он думает, что я слабая. Слишком много лишних мыслей.

- Ему же это нетрудно. А тебе пригодилось бы. Тед с удовольствием поможет в любой момент.

- Не нужна мне его помощь.

– А работа нужна, – хмыкает он.

Можно подумать, что его забавляет моя реакция, но я знаю – это первая стадия, сейчас он разозлится. Он всегда так хмыкает, когда недоволен. То ли хочет, чтобы тот, кто его раздражает, тоже завелся – на меня это всегда именно так и действует, – то ли пытается скрыть свое раздражение. Так или иначе, это верный признак, что он не рад.

– Ладно, Джесмин, поступай как знаешь. – Он поднимает руки, дескать, с тобой бороться бесполезно, я сдаюсь.

Садится в машину и уезжает.

Он так это произнес, «поступай как знаешь», будто это дурно. А что ж плохого, если человек знает, как ему лучше? Да я в жизни своей с ним не советовалась, и он последний, к кому я бы пошла за помощью. Тут вдруг мне становится не по себе – с чего я вообще об этом думаю? Стою, как идиотка, на ветру и пялюсь на пустую дорогу, где отцовской машины и след простыл. Бросаю быстрый взгляд на твой дом, и мне кажется, занавеска на втором этаже чуть колыхнется, а может, померещилось.

Потом, уже вечером, я долго не могу заснуть. Голова, похоже, перегрелась от обилия мыслей, как мой лэптоп, когда долго работает без перерыва. Я злюсь. Во всем у меня в последнее время неопределенность какая-то, недосказанность: с работой, с отцом, с мужиком, внаглую занявшим место на парковке прямо у меня перед носом, с арбузом, который я уронила себе под ноги, да так удачно, что он разбился вдребезги и запачкал мои замшевые ботинки. Я занимаю половинчатую позицию. Нападаю, отступаю, опять нападаю, пытаюсь все уладить, снова обвиняю, подробно рассказывая, у кого что не так. И что характерно, мне от этого не легче, наоборот, только хуже и хуже.

На душе мерзко, а еще очень хочется пить.

Рита, у которой я сегодня утром была на сеансе рэйки-терапии, меня об этом предупреждала. Она велела как можно больше пить, в смысле пить воды, но ее мне как раз совершенно не хотелось, и я выпила бутылку вина. Раньше я никогда на рэйки не ходила и вряд ли пойду еще, но тетя подарила мне на

Рождество ваучер на одно посещение, вот я туда и потащилась от нечего делать.

Тетя большая поклонница нетрадиционной медицины – любой. Она и маму водила ко всяким целителям, когда та заболела. Наверное, поэтому я во все это и не верю, ведь маме ничего не помогло. С другой стороны, обычные лекарства ей тоже не помогли, что не мешает мне пить таблетки, скажем, от головной боли. Не знаю, может, схожу к Рите еще раз. О сеансе я с ней договорилась уже после праздников, когда все вернулись к работе. Мне нужно себя чем-то занять, нужно, чтобы в моем новом ежедневнике – кожаном, с золотыми инициалами в верхнем правом углу – появлялись записи, хоть отдаленно похожие на «рабочие». В прежние времена ежедневник был бы уже заполнен на месяц вперед: деловые встречи, важные свидания, совещания и прочее. А сейчас он являет собой грустную картину, вполне отражающую мою нынешнюю активность: крестины, посиделки в кафе, дни рождения.

На сеансе рэйки я сидела в комнатке с белыми стенами, где так пахло благовониями, что меня неудержимо клонило в сон, точно меня одурманили. Рита похожа на птичку. Миниатюрная, лет шестидесяти, но очень энергичная и гибкая, судя по тому как она ловко угнездилась в кресле, скрестив ножки. А вот лицо ее мне показалось размытым, будто в расфокусе. Возможно, это потому, что у меня все плыло перед глазами. Зато взгляд у нее острый, даже цепкий – она не упускала ни единой мелочи, и мне пришлось тщательно следить за тем, что и как я говорю. В итоге получалось обрывочно и невнятно.

Ну, в общем, мы с ней мило поболтали, и она была сочувственно-доброжелательна. Потом я минут двадцать полежала на кушетке, релаксируя и вдыхая неведомые ароматы. И никаких перемен после всего этого в себе не обнаружила.

Но все же она дала мне небольшой совет, который вылетел у меня из головы, едва я от нее вышла, а сейчас вспомнила и, пожалуй, готова ему последовать – не вижу, почему бы, собственно, и нет. Итак, снимаю носки и хожу босиком по ковру в надежде «укорениться». То есть избавиться от негативных эмоций. Наступаю на что-то острое – крючок от вешалки – и злобно чертыхаюсь. Сажусь на пол, нежно баюкаю уколотую ногу. Не очень представляю, как должны себя чувствовать «укоренившиеся», но явно как-то иначе.

Когда Рита посоветовала мне ходить босиком, то сказала, что лучше всего, конечно, по траве, но можно и по полу. Главное, делать это регулярно. Научное обоснование такого метода состоит в следующем: Земля отрицательно заряжена, и когда ты заземляешься, то подсоединяешься к отрицательному источнику энергии. А поскольку отрицательный заряд Земли, ясное дело, больше, чем твой, ты потихоньку притягиваешь ее электроны. И это оказывает успокаивающее воздействие на твой перевозбужденный организм. Мне непонятны все тонкости этого процесса, но я хочу, чтобы у меня перестала болеть голова, и не хочу пить таблетки – так почему бы и не походить босиком?

Выглядываю во двор. Ни травиночки. Ужасную, непростительную глупость совершила я, когда въехала сюда четыре года назад. Садоводство меня не вдохновляло, мне было двадцать девять лет, я работала, дома проводила минимум времени, и уж на кустики-цветочки у меня его точно не было. А потому я наняла рабочих, и вместо милого садика получилась необременительная в уходе мощеная площадка. На мой взгляд, она производила весьма солидное впечатление, и, кстати сказать, обошлась очень не дешево. Моих соседей она повергла в ужас. У входной двери я поставила черные цветочные горшки с причудливо изогнутыми вечнозелеными растениями. Ультрасовременный дизайн. Что там думают соседи, меня мало волновало, к тому же до недавнего времени у меня не было возможности это с ними обсуждать. Я нисколько не сомневалась, что поступила разумно. Садовник бы стоил кучу денег, а сама я понятия не имею, как ухаживать за всякими насаждениями. Однако кое-какая трава все же осталась – на небольшом проходе между нашими с мистером Мэлони домами. Он ее стрижет и моего мнения на сей счет не спрашивает, думаю, он уверен, что это его территория, поскольку он поселился здесь раньше. И что я вообще смыслю в травах? Я, травовытравитель?

Мне казалось, что в двадцать девять лет обзавестись собственным жильем – в таунхаусе на две семьи – означает именно «повзрослеть и пустить корни». Кто ж знал, что, сровняв с землей свой сад, я лишила себя шанса укорениться.

Проверяю, что у тебя происходит. Ничего. Свет нигде не горит, твоего джипа нет. Об остальных соседях можно не беспокоиться, да и вообще они меня не интересуют.

Надеваю спортивный костюм и босиком спускаюсь вниз. Осторожно, как шпионка, бегу на цыпочках по тротуару к зеленой полоске газона. Так, посмотрим, нет ли тут собачьих какашек. А также слизней и улиток.

Подворачиваю штанины и бреду по мокрой траве. Она холодная, но не колючая. Прохаживаюсь взад-вперед, поглядываю на пустую улицу и хихикаю себе под нос.

В первый раз с тех пор, как я здесь поселилась, чувствую себя виноватой в том, что сотворила с палисадником. Смотрю на другие дома и понимаю, что мой в сравнении с ними выглядит темным и мрачным. Не сказать, чтобы у них в садах в январе все было расцвечено яркими красками, но кусты, трава и деревья выгодно отличаются от унылого булыжника и дорожной плитки.

Не знаю, на что, кроме воспаления легких, можно рассчитывать, гуляя босиком по сырой траве, но, во всяком случае, прохладный ночной ветер остудил мою разгоряченную голову и выдул оттуда прочь лишние мысли.

Такое поведение для меня необычно. Я не о прогулках по газону посреди ночи, а об утрате самоконтроля. Конечно, бывали и на работе напряженные дни, когда требовалось перенастроиться, но это другое. Я себя чувствую по-другому. Сейчас я слишком много размышляю, мое внимание обращено на то, что раньше меня вообще не занимало.

Очень часто, когда я что-нибудь пытаюсь найти, то вслух произношу название этой вещи, чтобы мысленно ее себе как следует представить, визуализировать и дать мозгу соответствующую команду: ищи вот это. Например, потеряв ключи, брожу по дому и бормочу: «Ключи, ключи, ключи». Или: «Красная помада, ручка, счет за телефон...» И в итоге быстрее нахожу то, что требуется. Не знаю, почему так происходит, может, какой-нибудь ученый и мог бы это объяснить, привлекая всевозможные отвлеченно-умозрительно-философские обоснования, но мне главное, что оно работает. Когда я точно знаю, что надо найти, я это нахожу. Приказ дан – послушный организм его исполнил.

Нередко бывает и так, что искомый предмет обретается прямо у меня перед глазами. Но я его не вижу. Сплошь и рядом со мной такое происходит и последний раз не далее как сегодня утром. Я искала в шкафу свое пальто. Оно висело ровно передо мной, но, поскольку я не сказала «черное пальто с кожаными рукавами», оно себя не обнаруживало. И я бестолково перебирала содержимое вешалок, не в силах узреть очевидное.

Я думаю – на самом деле даже точно знаю, – что применяю этот прием довольно широко, не только для поиска конкретных вещей, но и вообще в жизни. Говорю себе, чего я хочу, хорошенечко себе это мысленно представляю, чтобы проще было искать, и нахожу. Проверенный способ, всегда он у меня срабатывает.

А сейчас я оказалась в ситуации, когда все, что я себе напредставляла и потом получила упорным трудом, у меня отнято и больше мне не принадлежит. Первое побуждение – вернуть все обратно, снова присвоить себе как можно быстрее, а лучше немедленно. Но поскольку сие невозможно – я реалист, а не колдун вуду, – то надо придумать взамен нечто новое, нечто иное, к чему можно стремиться. Понятно, что я говорю о работе. Знаю, со временем я опять начну работать, но в данный момент меня держат на привязи, и ничего с этим поделаться невозможно.

Я сейчас в так называемом «садовом отпуске». К садоводству он, по счастью, никакого отношения не имеет, а не то мне пришлось бы целый год возделывать узенькие трещинки между плиток мощеного двора. Сажать туда семена и поливать их слезами. «Садовый отпуск» – это когда уволившийся (или уволенный) сотрудник некоторое время не имеет права наниматься на другую работу. Бывший шеф оплачивает ему этот вынужденный простой. Обычно так делают, чтобы сотрудник не мог воспользоваться ценной информацией, передав ее конкурирующей фирме, куда он, вполне вероятно, направится в поисках места. Я не собиралась переходить к конкурентам. Я вообще изначально никуда не собиралась, как уже было сказано. Однако Ларри был уверен, что я прямиком двину в ту самую компанию, которой хотела продать нашу «Фабрику идей», а они, безусловно, наши конкуренты. Ну что же, они и правда позвонили мне на следующий день после того, как он меня вышвырнул, и предложили место. Но, когда услышали про годичный принудительный отпуск, признались, что так долго ждать не могут. Этот чертов отпуск отпугивает всех работодателей! И я вынуждена тупо ждать, ничего, абсолютно ничего при этом не делая.

Похоже на тюремный срок. Двенадцать месяцев. Это и есть тюремный срок. У меня такое чувство, будто я стою на полке и покрываюсь толстым слоем пыли, а мир вокруг живет своей бодрой, деятельной жизнью. И я в ней участвовать не могу, я вне ее. Но нельзя же допустить, чтобы у меня сохли мозги, надо же их как-то подпитывать. Пользуясь, черт бы ее побрал, садоводческой терминологией, надо возделывать почву, чтобы она давала всходы.

Влажные травинки липнут к ногам, я меряю газон шагами. Взад-вперед. Туда-сюда. Что, если так и придется весь год сидеть на привязи? Что мне делать?

Ноги постепенно начинают мерзнуть, зато в голове забрезжила одна мыслишка. Проект. Цель. Точка приложения усилий. Мне будет чем заняться. Надо исправить то, что неправильно. Искоренить зло, которое сама же и содеяла.

Я преподнесу своим соседям приятный подарок. Верну обратно свой сад.

Глава пятая

Какой он замечательный, – шепотом хвалю я младенца, которого моя подруга Бьянка нежно держит на руках.

– Да, замечательный, – улыбается она, с обожанием глядя на сына.

– Есть в этом что-то поразительное, правда?

– Да, это... поразительно.

Взгляд у нее потерянный, губы слегка дрожат, и вокруг глаз глубокие черные круги после двух бессонных ночей.

– Ну а ты как? Нашла другую работу?

– Нет, я не могу. Ты же знаешь, у меня этот проклятый принудительный отпуск.

– А, точно. – Она кивает, вдруг вздрагивает, как от боли, а затем снова успокаивается в отрешенной задумчивости. Я не рискую нарушить ее молчание. – Ты обязательно что-нибудь найдешь, – говорит она с ободряющей улыбкой.

Я уже начинаю тихо ненавидеть, когда мне так улыбаются.

Я в больнице, в очередной раз пришла навестить кого-то, кто при деле. Все мои визиты в последнее время таковы – захожу к друзьям на работу, к сестре на курсы, встречаюсь с отцом, когда он «выпасает» Зару, болтаю с подругами, а они присматривают за детьми, пока те занимаются танцами или плаванием или просто играют на площадке. Последнее время я выступаю в роли стороннего наблюдателя, люди уделяют мне внимание, но лишь постольку-поскольку. Что поделаешь, у всех полно забот. И я терпеливо жду, когда они выкроют минутку и для меня. Я как будто застыла, вокруг меняются декорации, что-то происходит, а я из этого выключена. Словно бы смотрю на себя со стороны, покидаю свое тело и наблюдаю, что происходит вокруг, пока я пребываю в молчаливой неподвижности. Осознав это, я попыталась договариваться о встречах на вечер, чтобы общаться на равных, глаза в глаза, один на один. Но всем некогда, одни не могут платить няне, у других вечера расписаны надолго вперед, и выбрать время, которое всем было бы удобно, очень непросто. Каких трудов мне стоило организовать ужин у себя дома – не меньше двух недель мы это утрясали и наконец сошлись на ближайшей субботе. Уж тогда-то я выступлю в роли хлопотливой, занятой хозяйки, а они будут праздными гостями.

Ну а пока что я здесь, в больнице, сижу у постели своей дорогой подруги, которая только что родила первенца. Конечно, я чрезвычайно за нее рада, но немножко рада и за себя – ведь Бьянка будет целых девять месяцев в отпуске по уходу за ребенком. Впрочем, в глубине души я знаю, что она не сможет составить мне компанию в моем вынужденном безделье, ей уж точно найдется чем заняться. Так что если мы и будем видеться, то я опять окажусь в роли стороннего наблюдателя, который получает свою порцию внимания по остаточному принципу.

– Мы тут с Тристаном подумали... – отвлекает меня от грустных мыслей Бьянка, и я невольно настораживаюсь, почти наверняка зная, что сейчас последует. – Лучше бы, конечно, его дождаться, но ничего, я сама скажу...

Ну точно. Боже, мне плохо. Старательно делаю заинтересованное лицо.

– Ты согласна стать его крестной?

Та-да-дам. Третий раз за два месяца, это не иначе мировой рекорд.

– О Бьянка, с радостью! – улыбаюсь я. – Спасибо вам, это такая честь...

Она улыбается в ответ, довольная тем, что предложила мне разделить с ними один из самых светлых моментов в жизни. Только вот я себя ощущаю как нищий, которому подали милостыню. Все как сговорились – зовут меня в крестные, чтобы я почувствовала себя востребованной. Но, увы, я знаю, что все одно останусь не у дел. Родители будут держать ребенка, священник – кропить его святой водой, а я – праздно болтаться рядом.

– Ты слышала про сына твоего приятеля?

– Какого приятеля?

– Ну, Мэтта Маршалла.

– Никакой он мне не приятель, – с раздражением говорю я. Потом, решив, что лучше не спорить с женщиной, едва оправившейся от родов, спрашиваю: – Что сделал его сын?

– Он выложил видео на YouTube, где рассказывает, как ненавидит своего отца. Ужас, правда? Представляешь, о родном отце говорить такое.

Младенец у нее на руках издает недовольный писк.

– Этот троглодитик уже изгрыз мне весь сосок, – бормочет она, и я тут же умолкаю, с почтительным трепетом глядя на мать и дитя.

Она перехватывает свое трехдневное сокровище, чтобы ему было удобнее сосать, держа его, как мяч для регби, ее огромная грудь больше, чем его голова, и, кажется, не дает ему дышать. Но нет, он сосредоточенно чмокает и выглядит вполне довольным.

Момент, безусловно, трогательный – мать, кормящая свое чадо, вот только у матери по щекам текут слезы. Открывается дверь, и в палату заглядывает бледная физиономия Тристана. Он видит своего первенца и расплывается от умиления, потом смотрит на жену и тревожно хмурится.

– О, привет, Джесмин! – преувеличенно радостно говорит он, заметив, что и я здесь.

– Поздравляю, папаша, – улыбаюсь я. – Он просто прекрасен.

– Да, и во рту у него полно острых зубьев, клянусь вам, – болезненно морщится Бьянка.

Младенец опять недовольно хнычет, она отняла у него свой красный, потрескавшийся сосок.

– Я тебе серьезно говорю, Тристан, это... это что-то невыносимое.

Губы ее кривятся.

Оставляю их втроем.

Я веду машину и убеждаю себя, что мне неинтересно, чего там твой сын выложил на YouTube. Не собираюсь опускаться до твоего уровня, у меня есть дела куда важнее, чем думать о тебе. Беда в том, что все мои важные дела – купить себе еды на ужин.

В отличие от многих одиноких друзей я не напрягаюсь по поводу «шопинга на одного». Мне очень хорошо одной, а есть... есть нужно всем. Но в том-то и проблема. Когда я была по горло занята, приходилось выкраивать время, чтобы перекусить, и ела я потому, что это необходимо для жизни. Теперь еда превратилась в дело, которое можно растянуть на полдня. Всю прошлую неделю я изобретала новые блюда. Вчера провела в книжном почти час, изучая кулинарные издания, потом еще полтора закупила продукты и наконец два с половиной стряпала себе еду, которую затем и съела – за двадцать минут. Собственно, этому и был посвящен весь вчерашний день. Весьма приятный, надо признать, и раньше я бы себе никак не могла этого позволить, но, как я успела заметить, радость новизны довольно быстро... приедается.

Встаю на парковке у супермаркета. День на редкость солнечный и яркий для начала января, но все равно холодно. Достая айфон и прямым иду на YouTube. Набираю «Мэтт Маршалл», и тут же вылезает куча ссылок «сын Мэтта Маршалла». Кликаю. Видео размещено вчера вечером, а уже тридцать тысяч просмотров. Впечатляющий результат.

С твоим сыном я никогда не общалась, но отлично знаю, как он выглядит. Каждое утро он выходит в школу – голова опущена, из-под капюшона торчат рыжие вихры, в ушах наушники – и неспешно тащится к остановке автобуса. Вдруг осознаю, что, хоть мы уже четыре года живем бок о бок, как его зовут, я не знаю. Но это сразу становится ясно из комментариев:

Красава, Финн!

Мой старик тож лузер знаю что тебе херово.

Твоего предка надо закрыть в дурку а не фиг нести пургу.

Я практикующий психолог, и меня тревожит твое состояние, пожалуйста, свяжись со мной, я могу тебе помочь.

Я большая поклонница твоего отца, он помог моему сыну, когда его травили в школе, помог обратить внимание на эту проблему в Ирландии.

Молюсь, чтобы Господь усмирил твой гнев.

Папаша debil а сын говнюк.

Дружеская поддержка общественности.

Финну около пятнадцати лет, судя по его школьной форме, он учится в дорогой частной школе «Бельведер». С экрана на меня смотрят сердитые карие глаза. Нос и щеки слегка присыпаны веснушками. Он смотрит в камеру, широкие ноздри раздуваются от гнева. Из-за его спины доносится музыка, думаю, он в гостях, и думаю, он пьян. Зрачки расширенные, хотя это может быть и от злости. Из четырехминутной записи следует, что он хотел бы публично откреститься от того, чем занимается «этот лузер», то есть ты, и что ты вообще, по сути, не отец никакой. Финн говорит, что ты всех достал, ты мудозвон, семья держится на матери, а ты «урод безмазовый». Он повторяет это на разные лады, словарный запас у мальчика очень неплохой, и видно, что сам он тоже очень неплохой, только старается казаться крутым и жестким. Его обвинительная речь выстроена неумело, но главное, что он все время подчеркивает, – тебя надо

уволить и вообще запретить работать на радио.

Слушать все это тяжело, я съеживаюсь на сиденье и прикрываю глаза руками. Музыка становится громче, сквозь нее пробиваются мужские голоса. Финн резко оборачивается, и все, видео заканчивается.

Вопреки тому, как я к тебе отношусь, никакого злорадства или удовлетворения я не испытываю. Мне жаль, что я это видела, жаль тебя и всех вас.

Иду в магазин, хмуро озираю забитые продуктами полки, наугад выбираю кое-что на ужин. Еду домой, и меня не покидает ощущение, что в моей жизни случилось что-то плохое. Пытаюсь от него избавиться, говорю себе, что меня все это абсолютно не касается, но проблема в том, что, как ни глупо, уверенности в этом у меня нет. Касается.

На ужин делаю тушеные баклажаны с пармезаном, без затей, и открываю новую бутылку красного вина. Как же нам решить твою проблему? Что мы будем делать с Финном, а, Мэтт? У тебя в доме темно. Машины жены нет, все куда-то уехали. Тишина.

В спальне у доктора Джеймсона гаснет свет. Не знаю, Мэтт, мне ничего не приходит в голову.

Впервые в жизни засыпаю на диване в гостиной, а когда просыпаюсь спустя некоторое время, никак не пойму, где я. В комнате темно, только слабо мерцает экран телевизора. Встаю и опрокидываю на пол тарелку с недоеденными баклажанами, а заодно разбиваю винный бокал. Сна уже ни в одном глазу, бешено стучит сердце, и становится ясно, что именно меня разбудило. Знакомый шум – твой джип мчится по улице. Огибаю осколки, иду к окну и вижу, как ты, по своему обыкновению, не сбавляя скорости, едешь прямо на закрытые ворота гаража. Только на сей раз ты не тормозишь, а с грохотом врезаешься в них, белые крашенные створки сотрясаются, и гулкое эхо разносится по всей улице. Так и вижу доктора Джеймсона – он резко просыпается и рывком сдирает с лица темную ночную повязку для глаз.

Гаражные ворота выстояли, и дом не рухнул тебе на машину. Вообще-то жалко. Некоторое время ничего не происходит. Звучит «Город-рай», на всю громкость.

Мне тебя видно, ты сидишь неподвижно. С тобой все нормально или сработал мешок безопасности, вжав тебя в кресло? Может, надо в «Скорую» позвонить, только непонятно, есть ли в этом необходимость, а то еще получится ложный вызов. Как же не хочется выходить из дома, но и оставить тебя в таком состоянии я не могу.

Прошлой ночью ты нарушил ритуал, не стал орать и барабанить в дверь, а тупо заснул в машине. Я тоже пошла спать и не видела, как тебе удалось попасть домой, но кто-то тебя впустил. Может, Финн? К тому моменту он уже выложил свое видео в Интернет. Может, ты так его достал, что он ослушался матери и решил открыть дверь, а заодно и высказать, что он о тебе думает? Обидно, что я это пропустила. Знаю, мысль странная.

Сегодня ты совсем никакой. Подозреваю, что это из-за Финна и «милых» постов на YouTube. Уверена, ты уже в курсе.

Вечером я послушала радио, хотела убедиться, что тебя правда отстранили, и да, программу вел другой диджей.

Отстранили не только тебя, но и всю твою команду, за «возмутительную выходку в новогоднем эфире». Но ты, как я вижу, вместо того чтобы воспользоваться свободным в кои-то веки вечером и провести его с семьей либо просто поразмыслить о жизни, поехал и нажрался в хлам.

Честно сказать, довольно странно было не слышать тебя в привычный час. Ты прочно с ним ассоциируешься у десятков тысяч людей – дома, в машине, на работе, в дороге они ждут встречи с тобой в назначенное время.

Узнав, что тебя отстранили, я, к своему удивлению, вовсе не так обрадовалась, как можно было бы ожидать. А потом пришла к выводу, что тебе это отстранение пойдет на пользу. Может, ты наконец призадуматься о своей работе, обо всех тех гадостях, которые обсуждались на твоём шоу, о том, как это влияло на людей. Поверь мне, очень сильно влияло, знаю по собственному опыту. Может быть, ты решишь что-нибудь изменить в себе? Размышляя об этом, я вспоминаю тот вечер, после которого так сильно тебя возненавидела.

Шестнадцать лет назад ты работал на другой радиостанции. В тот вечер темой передачи, которую ты вел, были люди с синдромом Дауна. Обсуждались самые

разные аспекты, была и полезная информация, в первую очередь благодаря сотруднице ассоциации Down Syndrome Ireland. Было ясно, что ее раздражает непрофессиональный уровень дискуссии, но говорила она при этом очень сдержанно и умно. К сожалению, это вовсе не та стилистика, которая интересна тебе, и ты очень быстро убрал ее из эфира. Зато необразованным истеричным придуркам дал возможность высказаться сполна. В основном разговор крутился вокруг медицинского теста на синдром Дауна, который делают, чтобы еще на стадии беременности выявить геномное отклонение. Этот тест особенно рекомендуют женщинам из «группы риска», то есть тем, у кого имеется наследственная предрасположенность к хромосомной патологии. Тест безопасен и дает высоко достоверные результаты. Понятно, почему ты взял эту тему, – речь ведь идет о проблеме выбора, женщина должна решить, оставлять ей ребенка или делать аборт. Но, вместо того чтобы вести обсуждение спокойно и без истерик, ты, конечно, выбрал другую манеру, максимально конфликтную, тебе же нужен «накал страстей». Пригласил в студию малообразованных психов и позволил им рассуждать о проблеме, в которой они вообще ничего не смыслят. Например, какой-то напористый, но не пожелавший назвать свое имя жлоб все выпрашивал, может ли он заставить свою девушку прервать беременность, если узнает, что у плода угроза синдрома Дауна.

Мне было семнадцать, я пришла на вечеринку вместе с парнем, в которого была по уши влюблена. Все были пьяны, и нам показалось, что будет прикольно на время перестать слушать музыку, а послушать, наоборот, Мэтта Маршалла. Тогда я ничего против тебя не имела, даже думала, что ты крутой и обсуждаешь крутые вещи, – любое яркое проявление привлекательно, когда ты еще неопытен и не обрел свой голос. Но от этого «разговора» меня замутило. Хуже того, тему подхватили, стали обсуждать уже в нашей компании, и мне пришлось выслушивать, что говорят мои друзья, которым, уж казалось бы, должно быть стыдно болтать всякую ахинею, и что говорят незнакомые мне гости, и что говорит парень, с которым я пришла. Каждый спешил сообщить свое мнение, и в итоге выяснилось, что никому не нужен ребенок с синдромом Дауна. Один тип даже заявил, что предпочел бы ему больного СПИДом. Мне стало плохо от того, что я услышала. Я подумала о своей замечательной Хизер, которая в тот момент мирно спала дома, и о маме, проходившей курс лечения от рака, изо всех сил боровшейся за жизнь, потому что больше смерти маму страшило, как Хизер будет жить без нее. Мне было невыносимо это слушать, я встала и ушла.

Полицейские подобрали меня на дороге у побережья. С ног я не валилась, но была перевозбуждена до предела, так что ради моей же безопасности они отвезли меня в участок.

Мама была слаба, ее нельзя было тревожить. Тете я позвонить не могла после того, что произошло месяц назад между мной и ее сыном Кевином, это было невозможно, так что полицейские позвонили отцу. Он был на свидании со своей новой девушкой, и они приехали за мной на такси – он в смокинге, она в вечернем платье – и отвезли меня к нему домой. Всю дорогу они переглядывались и фыркали от смеха, видимо, им казалось, что все это дико забавно. Как только мы добрались до квартиры, они тут же развернулись и отправились развлекаться дальше, к моей величайшей радости.

Итак, я стою у окна и наблюдаю за твоей неподвижной фигурой, и мне все равно, видишь ты меня или нет, потому что я на самом деле встревожена. Ровно в тот момент, когда я решаю выйти и помочь тебе, дверца джипа открывается, и ты выпадаешь из машины. Неспешно – как в замедленной съемке. Бац головой об землю. Ноги зацепились за ремень безопасности. Пауза. Не шевелишься. Оглядываюсь в поисках пальто, и до меня доносится смех. Смеешься, смеешься... пытаешься высвободить ноги, раздражаешься и перестаешь смеяться, сражаешься с ремнем, а кровь, поди, приливает к голове.

Смотри-ка, выпутался все же. Дальше по стандартной схеме – орать, долбить, жать на звонок. Нет ответа. Тогда посигналить. Вообще странно, что никто из соседей не скажет тебе, что пора бы уняться. Может, спят и не слышат? Может, опасаются? Или, подобно мне, наблюдают из окна? Нет, вряд ли. У Мерфи ложатся рано, у Мэлони, кажется, все это никого не тревожит, а Ленноны настолько трусливы, что никогда не отважатся выступить против тебя. Похоже, ты мешаешь только мне и доктору Джеймсону. В доме у тебя темно и абсолютно тихо, машины твоей жены нет, занавески раздвинуты во всех окнах. Никого, пусто.

Ты уходишь за дом и исчезаешь из поля зрения, но вскоре я тебя слышу, а вот уже и вижу. Ты волочишь по траве деревянный стол на шесть персон. Ножки стола выдирают траву, вспахивают землю, оставляя глубокие борозды. Так, выволок стол на бетонную дорожку. Господи, какой мерзкий скрежет. Куда ты его тащишь теперь? Понятно, в палисадник. Да, повози его погромче по бетону, вон уже у Мерфи свет зажгли, не выдержали-таки. Ты водружаешь стол посреди лужайки и снова отправляешься на задний двор. Три ходки – и все шесть деревянных стульев встали вокруг стола. Что дальше? Ага, зонтик от солнца. Эх, зонтик не открывается, ты в бешенстве. Открылся, но ты уже не хочешь с ним знаться и злобно отшвыриваешь в сторону. Зонтик повисает на ближайшем дереве. Изящная композиция. Ты совсем выбился из сил. Идешь к машине,

достаешь пакет. Знаю, у нас в ближайшем магазине такие дают. Выгружаешь из него банки с пивом, выстраиваешь их на столе и наконец усаживаешься сам. Ноги на стол, будь как дома, чего уж там, ты ведь именно дома. Точнее, у дома. С радио тебя выперли, теперь ты в телевизоре. Моем личном. Мало того что я тебя каждую ночь слышу, так сейчас еще и вижу. Бельмо на глазу.

Некоторое время наблюдаю за тобой, но это быстро наскучивает. Ты ничего интересного не делаешь, только тупо пьешь и пускаешь в ночное небо колечки сигаретного дыма.

Смотрю, как ты смотришь на звезды, – небо такое ясное, что видно Юпитер неподалеку от Луны. И о чем же ты думаешь? Что делать с Финном. Что делать с работой. То есть в конечном счете мы мало чем отличаемся?

Глава шестая

Восемь тридцать утра, я на площадке перед домом со строителем по имени Джонни, здоровенным рыжим мужиком, который ведет себя так, словно люто меня ненавидит. Никто ничего не говорит, он и его напарник Эдди, облокотившийся на отбойный молоток, просто молча на меня взирают. Джонни переводит взгляд на тебя – ты спишь, положив ноги на стол у себя в палисаднике, – затем обратно на меня.

– Так вы чего хотите? Нам ждать, пока он проснется?

– Нет! Я...

– Но вы же сами так сказали.

Да, именно так я и сказала.

– Нет, не так, – твердо заявляю я. – Сейчас полдевятого, не рановато ли поднимать грохот? Мне казалось, официально разрешенное для любых строительных работ время – девять утра.

Он неопределенно машет рукой:

- Почти все уже на работе.

- Не на нашей улице, - возражаю я. - Здесь никто на работу не ходит.

Ну да, с недавних пор - вообще никто.

Прозвучало это, наверное, странно, но ведь так оно и есть. Он смотрит на меня как на больную, потом ищет взглядом подтверждения у своего коллеги - дескать, ненормальная, верно?

- В общем, милая, вы сказали, что вам это нужно срочно. У меня есть два дня, чтобы со всем тут управиться, потом я буду занят в другом месте. Так что либо я сейчас начинаю, либо...

- Хорошо, хорошо. Начинайте.

- Вернусь к шести, гляну, как тут что.

- А вы куда?

- Есть одна работенка. Эдди сам тут справится.

Не говоря ни слова, Эдди, которому на вид лет семнадцать, надевает наушники. Спешно ретируюсь в дом.

Стою у окна гостиной, которое выходит на твой сад, и смотрю, как ты сидишь за столом, откинув назад голову, и мирно посапываешь в пьяном забытьи. Кто-то набросил на тебя плед. То ли твоя жена, то ли ты сам проснулся от холода среди ночи и взял его из машины. Здравый смысл подсказал бы тебе там и остаться, но здравомыслие тебе чуждо.

Сегодня утром все, безусловно, не так, как должно быть. Помимо того, что ты спишь у всех на виду посреди раскуроченного палисадника на садовом стуле, криво воткнутом в землю, еще и дома у тебя все как будто вымерло. Дети уже должны были бы уйти в школу, жена выйти и проводить их, потом заняться

делами, но... ничего подобного не случилось. Дом не подает никаких признаков жизни, занавески не шевелятся, машины твоей жены нет. Зонтик по-прежнему висит на дереве. Похоже, тебя все бросили.

Неожиданно врубается отбойный молоток – с таким грохотом, что у меня, хоть я и не на улице, звенит в ушах и отдает дрожью по всему телу. Тут мне в первый раз приходит в голову, что следовало бы предупредить соседей: в ближайшие дни будет шумно, поскольку я решила раздолбать свою чудесную дорогущую площадку и засеять двор травой. Они бы меня наверняка предупредили, можно не сомневаться.

Ты в обалдении вскакиваешь со стула, судорожно дергая руками и ногами, и озираешься, словно на тебя напали. Пытаешься сообразить, где ты, что происходит и что тебе делать. А потом видишь у меня в саду Эдди. И немедленно устремляешься к моему дому. У меня бешено колотится сердце, сама не знаю почему. Мы никогда с тобой не общались, не считая брошенных на ходу «здрасте». Кроме того единственного раза, накануне Нового года, когда ты увидел, что я наблюдаю за тобой в окно, ты никак не дал понять, что знаешь о моем существовании, и я – тоже. Потому что я ненавижу тебя и все, что ты отстаиваешь, потому что ты не в состоянии понять: любая мать, даже умирая, больше всего тоскует не о жизни, а о том, каково будет ее ребенку, оставшемуся без ее заботы. Особенно ребенку с синдромом Дауна. Погружаюсь на секунду в воспоминания – что ты тогда говорил, что говорили твои мерзкие собеседники, и ненависть захлестывает меня с новой силой. Когда тыходишь к палисаднику, я полностью готова к схватке.

Я вижу, как ты орешь на Эдди. Эдди тебя вряд ли слышит, он же внутри этого грохота и на нем наушники, но он видит, что перед ним стоит мужик и яростно открывает-закрывает рот, уперев одну руку в бок, а другой тыча в мой дом. Эдди тебя игнорирует и продолжает разбивать мою дорогостоящую площадку. Я иду в прихожую и нервно топчусь у двери, ожидая, когда ты позвонишь. Подскакиваю, услышав звонок. Ты звонишь всего один раз. Вежливо, даже любезно. Легкое нажатие – и мелодичная трель, ничего похожего на пулеметные очереди, которые ты посылаешь своей жене.

Открываю дверь, и мы впервые оказываемся лицом к лицу. Это за тебя, сестренка, за тебя, Хизер, и за маму, за то, что она так несправедливо рано должна была нас покинуть. Мысленно твержу это себе, произвольно сжимая и разжимая кулаки, готовая к битве.

– Да? – Я говорю резко, с напором.

Тебя это несколько ошарашивает.

– Доброе утро. – Ты произносишь это внятно, слегка покровительственно: дескать, вот как принято здороваться у людей приличных, соблюдающих правила вежливости, которые ты, конечно, знаешь досконально, до мельчайших подробностей. Протягиваешь руку и сообщаем: – Я Мэтт, живу напротив вас, через дорогу.

Мне очень нелегко это сделать, терпеть не могу грубость, но я смотрю на твою руку, потом на небритое лицо, красные глаза, слышу запах перегара, которым провоняло все твоё тело, потом на губы, столь мне ненавистные за все гнусные вещи, которые они произносили, и засовываю руки в задние карманы джинсов. Сердце стучит уже как безумное. За тебя, Хизер, за тебя, мама.

Ты скептически наклоняешь голову. Убираешь руку, с трудом попав в карман полупальто.

– Я чего-то не улавливаю? Сейчас полдевятого, а вы ведёте земляные работы! Мы все, видно, не в курсе дела? Здесь нашли нефть? Пора столбить участки?

Ну, ясно, ты всё ещё пьян. Ноги вроде твердо стоят на земле, но качает тебя, как Майкла Джексона, то рывками, то плавно, вкруговую.

– Если это вам так сильно мешает, может, встанете лагерем на своем заднем дворе на ближайшие несколько дней?

Ты смотришь на меня как на величайшую, неменяемую суку, а потом разворачиваешься и уходишь.

Сколько всего я могла бы тебе сказать. Много-много вариантов было у меня, чтобы донести до тебя своё негодование от той «дискуссии» о людях с синдромом Дауна. Написать тебе письмо. Или, может, пригласить вместе выпить кофе. Поговорить как взрослые люди. И вместо этого я сказала, что сказала. На первой нашей встрече. И уже об этом жалею – не потому, что, возможно, тебя обидела, а потому, что, возможно, упустила шанс сказать нечто

важное так, как это надо было сказать. И вдруг до меня доходит, что ты-то, скорее всего, вообще не помнишь ту передачу. У тебя их было столько, что эта, наверное, ничего не значит и давно забылась. И я для тебя всего лишь малоприятная соседка, которая не предупредила о «земляных работах».

Из окна я смотрю, как ты идешь через дорогу. Эдди, яростно-равнодушный к миру, вгрызается в асфальт, и каждое его движение эхом отдается у меня в голове. Ты проходишь вдоль дома, заглядываешь в окна, пытаешься сообразить, как тебе попасть внутрь. Тебя качает, ты все еще пьян. Потом идешь к столу, я жду, что ты усядешься там, но вместо этого ты берешь садовый стул и несешь к входной двери. Отводишь руки, сколько можно назад, а потом бьешь со всей силы – раз, другой, третий, целясь в окошко посреди толстой деревянной панели. Разбил. Отбойный молоток напрочь заглушает шум, которым, наверное, это сопровождается. Ты примериваешься, а потом с трудом протискиваешь широкие плечи в образовавшуюся дыру и наконец проникаешь в дом. Ты справился и нашел свой путь.

И хотя я лично видела, каким кретиническим образом ты это проделал, ты снова заставил меня ощутить себя бессмысленной дурой.

Глава седьмая

Эдди два часа работает без передышки, потом исчезает – на три. Его зверский агрегат стоит посреди моего сада, который выглядит как после землетрясения. Он устроил настоящий погром, и мне противно на это смотреть, но приходится, потому что я постоянно выглядываю в окно – нет, не для того, чтобы увидеть тебя, ты, я знаю, до вечера не покажешься, – а чтобы не пропустить Эдди, который как ушел в своем защитном шлеме, так больше и не возвращался. Звоню Джонни, но он не отвечает, а такой услуги, как «оставьте сообщение», на его телефоне нет. Дурной знак. Мне его рекомендовал ландшафтный архитектор, который занимался дизайном моего двора, что тоже дурной знак.

У меня звонит мобильный, какой-то неизвестный номер, поэтому не отвечаю. Тетя Дженнифер малость перебрала на Рождество и сообщила мне, что кузен Кевин к Новому году собирается приехать домой и хочет со мной связаться. Новый год уже наступил, так что я отслеживаю все звонки не хуже ЦРУ.

В двадцать два года Кевин уехал из Ирландии, какое-то время странствовал по свету, а потом обосновался в Австралии. Впрочем, не думаю, что Кевин может где-нибудь «обосноваться». Он уехал, чтобы найти себя, чему предшествовала бурная семейная драма, и с тех пор ни разу не появился, ни на Рождество, ни на дни рождения, ни на мамины похороны. Это тот самый Кевин, который сказал, что я умру, когда мне было пять, и что он меня любит, когда мне было семнадцать.

Тетя была у нас, проводила выходные с мамой, а я, как тогда было заведено, отсыпалась у нее дома. Дядя Билли смотрел телевизор, а мы с Кевином сидели на качелях на заднем дворе и изливали друг другу душу. Я горевала из-за маминой болезни, Кевин меня внимательно слушал. Слушать он умел, это правда. А потом Кевин раскрыл мне свою тайну: он только что узнал, что его усыновили. Сказал, что чувствует, будто его предали, после всех этих долгих лет молчания, но с другой стороны, это наконец помогло ему разобраться в его отношении ко мне. Он меня любит. В ту же секунду он набросился на меня, жадно водя руками по всему телу, и, задыхаясь от вожделения, засунул мне в рот мокрый горячий язык. Всякий раз, вспоминая об этом, я мчалась в ванную, чтобы как следует прополоскать рот. Может быть, по крови он мне и не двоюродный брат, но он мой брат. Мы играли у них на заднем дворе в «Повелителя мух»^[2 - Игра основана на экранизации романа У. Голдинга «Повелитель мух» (если не на самом романе), где дети, оказавшись на необитаемом острове, охотятся на дикую свинью, жарят ее на вертеле, пляшут и т. д.], связывали его братика Майкла и поджаривали его на вертеле, устраивали костюмированные представления и показывали их, стоя на подоконниках. Мы были дети одной семьи. Все воспоминания, которые у меня с ним связаны, это воспоминания о брате. То, что он сделал, было мерзко.

Больше я с ним не разговаривала. Тете ничего не сказала, но знала, что она знает. Думаю, мама ей рассказала, но мы с тетей никогда этого не обсуждали. Первый год после того она держалась нервно, словно извиняясь, а потом тоже нервно, но уже обвиняя. Кажется, она считает, что, если б я простила Кевина, это могло бы его вернуть. Нет, тогда он еще не уехал, но напрочь отдалился от семьи, всячески показывая, что он больше не один из них. Постоянно встревоженный, никогда ни в чем не уверенный – ни в себе, ни в других. Мне тогда было чем заняться, проблемы Кевина не входили в этот список. Жестоко, наверное, но мне было семнадцать, и я его заморочек не понимала. Он был моим старшим братом, приемным, сдвинутым на всю голову, и я хотела только одного – чтобы он провалился ко всем чертям. Но теперь он вернулся, и, видимо, нам придется встретиться. Я давно перестала на него обижаться, мне больше не

хочется прополоскать рот, когда я о нем думаю. Но, хоть у меня и нет никаких важных дел, я знаю массу более приятных способов провести время, чем неловкая беседа с кузеном, который опробовал на мне французский поцелуй шестнадцать лет назад на качелях.

Снова смотрю в окно в надежде увидеть Эдди, и в этот момент звонит домашний телефон. Его номер не знает никто, кроме папы и Хизер, и обычно именно она на него и звонит, так что я беру трубку.

– Простите, могу я поговорить с Джесмин Батлер?

Замираю, пытаюсь понять по голосу, кто это. На Кевина непохоже. У него, поди, теперь австралийский акцент, хотя черт его знает. В любом случае не думаю, что это он. Со стороны тети Дженнифер было бы ужасно подло дать ему мой номер. А между тем слабый акцент есть, он слегка пробивается сквозь дублинское произношение – милый такой, певучий сельский говор.

– С кем я говорю?

– А я с Джесмин Батлер говорю?

Улыбаюсь и пытаюсь скрыть, что он меня позабавил.

– Пожалуйста, не могли бы вы представиться? Я экономка миз Батлер.

– О, простите! – радостно восклицает он, и это звучит очаровательно. – Как вас зовут?

Да кто же это такой? Он звонит мне, а говорит так, словно это мне что-то от него нужно, но никакой грубой напористости, напротив, все предельно вежливо и до крайности мило. Не могу понять, откуда он. Точно не из Дублина. Не северянин. Но и не южанин. Центральные графства? Тоже нет. Но акцент прелестный. Видимо, что-то продает. Надо выдумать имя для экономки и заканчивать разговор. Взгляд падает на тумбочку, где возле телефонной базы лежит пенал с ручками, если понадобится что-нибудь записать.

– Пен. – Я стараюсь не захихикать. – Пен-ни. Пенелопа, но все зовут меня Пенни.

- А иногда Пен?

- Да, - улыбаюсь я.

- Могу ли я узнать вашу фамилию?

- Вы заполняете анкету?

- Нет-нет, это на случай, если я снова позвоню, а миз Батлер опять не будет дома. На всякий, знаете ли, случай, - с саркастической печалью говорит он.

Не могу удержаться и смеюсь.

- Мм... - Так, что тут еще в поле зрения, ага, айпад. Закатываю глаза. - Пад. - Закашливаюсь, чтобы скрыть смех. - Паддингтон.

- Значит, Пенелопа Паддингтон, - резюмирует он, и я слышу, что он все понимает. Не надо большого ума, чтобы понять. - Вы не знаете, когда вернется миз Батлер?

- Не могу вам сказать. - Присаживаюсь на подлокотник дивана и вижу в окно, что доктор Джеймсон стоит у тебя перед дверью. - Она приходит и уходит. По работе. - Доктор Джеймсон заглядывает сквозь разбитое стекло. - А что вы хотите?

- Это дело частного характера, - вежливо, доброжелательно отвечает он. - Мне хотелось бы обсудить его лично с миз Батлер.

- И она вас знает?

- Пока нет. Но, быть может, вас не затруднит передать ей, что я звонил.

- Разумеется. - Я беру ручку и листок, чтобы записывать.

- Я попробую позвонить ей на мобильный.

– У вас есть ее номер?

– Да, и рабочий тоже, но я звонил в офис, и она недоступна.

Ну и ну. У него есть все мои телефоны, но он не в курсе, что меня уволили. Это ставит меня в тупик.

– Спасибо, Пенелопа, вы мне чрезвычайно помогли. Всего вам наилучшего. – Он отключается, а я еще некоторое время в растерянности слушаю гудки.

Потом нараспев говорю:

– Джесмин, вам только что звонил ну очень странный тип.

Доктор Джеймсон идет через дорогу к моему дому.

– Здравствуйте, доктор Джеймсон.

У него в руках белый конверт. Интересно, что еще придумали жители нашей улицы и во сколько мне это обойдется.

– Привет, Джесмин.

Он, как обычно, безукоризненно подтянут, рубашка аккуратно выглядывает из V-образного выреза свитера, брюки с идеальной стрелкой, ботинки сверкают. Он ниже меня, и при росте в 173 сантиметра я ощущаю себя рядом с ним здоровенной дылдой, притом весьма экзотической. У меня волосы ярко-рыжие, как пожарная машина, или, цитируя изготовителей краски для волос, «цвета огненных всполохов». Вообще-то от природы я шатенка, но с пятнадцати лет никто меня такой не видел, и единственное, что об этом напоминает, – это брови. Все говорят, что рыжий еще сильнее подчеркивает необычный цвет моих глаз, а они у меня бирюзовые, или, как многие любят выражаться, «цвета морской волны». Глаза и волосы – их все отмечают первым делом. И, куда бы я ни шла, на работу или в гости, всегда подвожу глаза ультрачерным карандашом. Вся такая броская, заметная. Сиськи у меня тоже выдающиеся. Они даже слишком большие, но я для этого ничего специально не делала, сами вымахали, умницы мои.

– Простите за весь этот грохот с утра пораньше, – абсолютно искренне извиняюсь я. – Мне следовало предупредить заранее.

– Ничего страшного, – отмахивается он, давая понять, что пришел по другому поводу. – Я хотел навестить нашего друга, но у него, судя по всему, неотложные дела.

Доктор произносит это так, будто «наш друг», то есть ты, надуваешь шарик для детского праздника на заднем дворе, а не валяешься на полу в ванной в луже собственной блевотины. Впрочем, кто тебя знает, может, ты валяешься на ковре в гостиной.

– Эми передала мне это для мистера Маршалла – для нас с вами он просто Мэтт, не так ли?

У меня тут же возникает подозрение: доктору отлично известно, что я за тобой наблюдаю. Но это невозможно, ведь тогда он, в свою очередь, должен бы наблюдать за мной, а я знаю, что это не так, потому что наблюдаю и за ним тоже.

– А Эми – это кто?

– Жена Мэтта.

– А. Ну да, конечно. – Типа я знала, но забыла. Но я не знала.

– Думаю, дело не терпит отлагательств, – он взмахивает белым конвертом, – но Мэтт не отвечает. Я мог бы положить его... мм... в открытое окно, но не уверен, что он заметит. Кроме того, есть еще один дубликат, который я бы хотел отдать вам. – Он протягивает мне конверт.

– Дубликат чего?

– Ключа от входной двери. Эми сделала два запасных, чтобы отдать соседям, – она отчего-то подумала, вдруг да пригодятся. – Он говорит, словно удивляется, с чего бы это она так подумала, меж тем мы оба отлично знаем, с чего. – Полагаю, ее нет дома, и вряд ли она появится в ближайшие дни. – Взгляд у него

очень многозначительный.

Ага. Понятно.

Убираю руки за спину, подальше от ключа и конверта, которые он пытается мне всучить.

– Пусть они лучше у вас останутся, доктор Джеймсон. Я не тот человек, которому надо их отдать.

– Почему же?

– Ну, знаете, какая у меня жизнь. Прихожу, ухожу. Дел полно. Работа и... всякое такое. Я думаю, надо их передать тому, кто почаще бывает дома.

– Вот как. А у меня сложилось впечатление, что вы... в последнее время редко уходите надолго.

В яблочко.

– И все же мне кажется, будет лучше, если они останутся у вас. – Я твердо стою на своем.

– У меня есть свой экземпляр, но проблема заключается в том, что я уезжаю на две недели. Племянник позвал провести отпуск с его семьей. Они меня впервые так приглашают. – Лицо его радостно освещается. – Исключительно любезно с их стороны, хотя наверняка это его Стелла убедила. Чудесная женщина. И я согласился. Тем более в Испанию... – Он весело подмигивает. Потом, помрачнев, добавляет: – В общем, я должен это кому-то отдать. – Видимо, его огорчает вся эта история.

Меня мучает совесть, но я не могу выполнить его просьбу. Ну как это я возьму себе ключи от совершенно посторонних людей? Абсурд. Не желаю в это ввязываться. Мое дело сторона. Да, я за тобой наблюдаю, но... нет, я не могу. И меня не растрогает его встревоженное, растерянное лицо. Черт, будь у меня работа, я бы знать ничего не знала о дурацких проблемах моих соседей, и они отлично решали бы их без меня.

– Ну, может быть, вы отдадите их мистеру и миссис Мэлони?

Представления не имею, как их зовут. Четыре года живу в соседнем доме... а ведь они каждый раз поздравляют меня с Рождеством и на открытках ставят свои имена.

– Да, наверное, это мысль. – В голосе у него сквозит большое сомнение.

Я знаю, почему он сомневается, – не хочет втравлять их в лишние проблемы. Когда ты в очередной раз заявишься в невменяемом состоянии, ни чете Мэлони, которым уже за семьдесят, ни Мерфи или Леннонам, которые примерно того же возраста, общаться с тобой не стоит. Он прав, я отлично это знаю, но все равно не могу.

– Может быть, все же передумаете? – на всякий случай спрашивает он.

– Нет, – твердо заявляю я и решительно мотаю головой. Ни за что не желаю в этом участвовать.

– Понимаю. – Он кивает, слегка поморщившись, и убирает конверт за спину. Пристально смотрит мне в глаза, и я знаю, что мысленно он представляет себе сцену, разыгравшуюся сегодня ночью. – Вполне вас понимаю.

Мы прощаемся, и доктор Джеймсон отступает назад, на дорогу, где его едва не сшибает «скорая», но, по счастью, в последнюю секунду я успеваю выдернуть его за рукав обратно на тротуар. Мы оба автоматически смотрим на твой дом, нас, видимо, посещает одна и та же мысль, однако «скорая» останавливается возле дома Мэлони, и парамедики стремительно исчезают за дверью.

– О боже милостивый, – бормочет доктор Джеймсон. В жизни своей не встречала человека, который вставлял бы в разговор столько архаических выражений.

Стоя рядом с ним, я вижу, как из дома выкатывают носилки с миссис Мэлони, она в кислородной маске. Носилки быстро погружают в «скорую», следом идет мистер Мэлони. Лицо у него совершенно серое, он совсем подавлен. В душе у меня что-то переворачивается. Надеюсь, это не моя вина. Надеюсь, ее сердечный приступ случился не потому, что у меня гремел отбойный молоток.

– Винсент. – Мистер Мэлони замечает доктора Джеймсона. – Марджори... – Вот как зовут его жену. Мне ужасно стыдно, что я не знала этого.

– Я пригляжу за ней, Эдвард, – обещает мистер Джеймсон. – Два раза в день? Еда в буфете?

– Да, – обессиленно произносит мистер Мэлони, и ему помогают сесть в машину.

Нет. Не жену.

Дверцы закрываются, «скорая» мгновенно уезжает, и улица снова пуста, словно ничего и не случилось, только вдалеке затихает вой сирены.

– Ой, горе, горе, – грустно говорит мой сосед. – Вот ведь беда какая, боже ж ты мой.

– С вами все в порядке, доктор Джеймсон?

– Зовите меня Винсент, пожалуйста. Я уже десять лет не практикую, – с отсутствующим выражением говорит он. – Ладно, пойду покормлю кошку. Кто это будет делать, когда я уеду? Наверное, мне лучше остаться. Сначала это, – он смотрит на конверт у себя в руке, – а теперь еще и бедные Мэлони. Да, видимо, я нужен здесь.

Я чувствую себя ужасно виноватой, мне и не по себе, и зло берет, словно весь мир сговорился против меня. В данной ситуации не предложить свою помощь было бы уже запредельным свинством. Равно как и попытаться найти кого-нибудь другого вместо себя.

– Я буду кормить эту кошку, если вы мне покажете, где ее еда. И вообще объясните, что с ней нужно делать.

– Согласен! – кивает он.

– Как мы туда попадем? – Я смотрю на опустевший дом со смешными садовыми гномами, аккуратными тропинками, веревочной лесенкой на дереве – для внуков, чтобы было удобнее лазить. Старая плакучая ива опустила ветки до

земли, туда, в своеобразный шатер, тоже ведет тропинка. По бокам окон потрескавшиеся, еще восьмидесятых годов ставни, бежевые с розоватым рисунком, а на подоконниках цветы в дешевых горшочках. Такой кукольный домик, бережно укутанный пеленой времени, домик, за которым ухаживают нежные, заботливые руки.

– У меня есть ключ.

Ну разумеется, как иначе. Похоже, у всех на нашей улице есть ключи от соседских домов. Только не от моего.

Он смотрит на конверт, точно впервые его видит, и я замечаю, что пальцы у него подрагивают.

– Винсент, я возьму его, – ласково говорю я и слегка пожимаю ему руку.

Ну вот, этим и закончилось – у меня письмо к тебе от твоей жены и ключ от твоего дома.

Да, и просто чтоб ты знал: я этого ни секунды не хотела.

Глава восьмая

Эдди возвращается, чтобы еще немного поработать. Я как раз кладу Марджори еду, и она нетерпеливо трется мне об ноги, но вдруг ее перекручивает так, точно она хочет вылезти вон из своей шкуры, и она бросается в дом в поисках спасения. Не буду я ее там искать, не хочу вторгаться в чужое пространство. Кошка, она кошка и есть, выйдет, когда жрать захочет.

Эдди усердно трудится, будто и не отлучался ни на миг, и тут приезжает Джонни, поглядеть, как идут дела. На мои жалобы на его напарника он реагирует молча, даже глазом не моргнув. Потом заявляет, что все идет по плану, а сейчас им пора, ждет другая работа. Ждет она их недалеко – прямо напротив. Они просто перебираются на другую сторону улицы, к твоему дому. Паркуются рядом с джипом и бодро выскакивают из своего фургона. Я наблюдаю

из-за занавески. Судя по всему, становлюсь законченной вуайеристкой, но поделаться с собой ничего не могу, меня мучает любопытство. Джонни промеряет раму вокруг разбитого окна, потом они достают из фургона доску и принимаются ее пилить. Мне их почти не видно, зато хорошо слышно. Всего полшестого, а уже почти темно. Они зажгли большой переносной фонарь, а еще слабо светится окно у тебя на кухне. Оно выходит на задний двор, и толку от него мало. Однако ясно, что ты проснулся.

Минут через десять они ставят деревянную заплатку тебе на дверь, запрыгивают в свой драндулет и уезжают. А что у меня в саду хаос и разорение, никого, конечно, не тревожит. Хоть трава не расти.

На столе лежит белый конверт. Доктор Джеймсон взял с меня слово, что я передам его тебе лично в руки. И тогда он сможет сказать Эми, что ее поручение исполнено. Твой ключ по-прежнему на кухонной стойке, вид у него какой-то чужеродный, но я не знаю, куда его деть. Этот ключ, словно магнит, притягивает мой взгляд. Куда ни отвернусь, все время к нему возвращаюсь.

Это неправильно, что у меня дома твоя вещь. Да еще письмо... Похоже, Эми наконец решила от тебя уйти и доверила соседям роль горевестника. Не сомневаюсь, она подробно изложила все, что о тебе думает. Наверное, не один час сидела, подбирала подходящие слова. В общем, деваться некуда, мой долг перед ней отдать тебе письмо. Мне бы сейчас позлорадствовать, но нет, моя миссия не доставляет мне ни малейшего удовольствия. И слава богу, не всем же быть такими сволочами, как ты, меня чужие несчастья не радуют.

Надеваю пальто, беру конверт. Звонит мобильный, номер какой-то незнакомый. Может, это давешний странный тип с неведомым акцентом? Ладно, отвечу.

– Привет, Джесмин. Это Кевин.

В животе противно холодеет, я застываю, как соляной столб, и вижу, что ты выходишь из дома, идешь к машине, садишься и уезжаешь.

Не могу заснуть. Это не из-за предстоящего свидания с Кевином – я согласилась с ним встретиться, но не у меня, а в кафе, чтобы в любой момент можно было встать и уйти, – а потому, что мысленно прокручиваю разные сценарии твоего

ночного возвращения. Вот ты приехал, пьяный в стельку, я отдаю тебе ключ, потом письмо. Ты не можешь открыть дверь, я помогаю, ты вдруг приходишь в ярость, швыряешь в меня стулом... орешь, не знаю, что еще делаешь... Не хочу, не хочу я в этом участвовать. А придется – соседский долг обязывает.

Когда ты приезжаешь, я все еще не сплю. Гремит «Город-рай». Сегодня гаражные ворота не пострадали, ты успеваешь затормозить вовремя. Выключаешь зажигание, захлопываешь дверцу машины и, заплетаясь, направляешься к дому. Не с первого раза, но все же умудряешься попасть в замочную скважину. Заходишь и ногой закрываешь за собой дверь. В прихожей загорается свет. Лампочка на крыльце гаснет. Свет загорается в спальне и гаснет в прихожей. Через пять минут в доме темно.

Вокруг меня царит непонятная тишина. Я вдруг осознаю, что все это время наблюдала за тобой, затаив дыхание. Ложусь в полном смятении.

Я разочарована.

В субботу у меня гости. Нас восемь человек, все мои самые близкие. Бьянки нет, она осталась дома с новорожденным, но Тристан пришел. Он засыпает в кресле у камина еще до того, как мы садимся за стол. Там мы его и оставляем, не стоит тревожить беднягу.

Разговор крутится в основном вокруг младенцев, которыми почти все мои друзья уже успели обзавестись. Я не против, для разнообразия и эта тема сгодится. Узнаю много нового о желудочных коликах. Делаю заинтересованное лицо, когда возникает дискуссия: пеленать или не пеленать детей на ночь. Свобода воли, а он себя будит, размахивая ручками, ну и пусть, ограничивать нельзя... Переходим к проблеме первого прикорма. Овощи или фрукты? Можно ли давать киви в восемь месяцев? Папа даже гуглит это в Интернете.

Полчаса кряду Каролина рассказывает мне на ухо, чем отличается секс с ее новым любовником от секса с «этой скотиной», в смысле бывшим мужем. И эта тема сойдет для разнообразия. Ведь это жизнь, и мне она интересна. Затем разговор переключается на меня и мою работу, и, хоть все они друзья, которых я нежно люблю, рассказать им правду я не могу. Поэтому сообщаю, что наслаждаюсь неожиданной свободой, к тому же – завидуйте все! – еще

и оплаченной. Они весело смеются, когда я рисую картины своей счастливой жизни: валяюсь на диване, книжки почитываю, а денежки капают. Но это одно сплошное притворство, и мне нелегко дается эта роль – беспечной лентяйки, довольной своим положением. Вранье, все вранье от первого до последнего слова.

И тут я слышу шум твоего джипа. Интересно, в каком состоянии ты появился сегодня? Я никому не рассказывала о твоих ночных эскападах. Не знаю почему. Ведь такая прекрасная сплетня пропадает, все с огромным интересом бы послушали, я уверена. Ты же знаменитость, это всегда придает подобным историям особую пикантность. Но у меня язык не поворачивается. Как будто это моя личная сокровенная тайна. Как будто я тебя оберегаю, черт его поймет почему. Наверное, я слишком всерьез воспринимаю все, что имеет к тебе отношение, чтобы сделать это предметом застольных шуток. У тебя дети, от тебя только что жена ушла. И я ненавижу тебя, мне, понимаешь, не до смеха.

Встаю и задергиваю занавески, чтобы никто не мог тебя ненароком увидеть.

Слышу, как ты чем-то грохочешь, но это проходит незамеченным – за столом живо обсуждают разницу между мужской и женской стерилизацией. Одни стоят за перевязывание фаллопиевых труб, а другие – за вазэктомию. Я вскользь замечаю, что предпочла бы второе, и все хохочут, но я не собиралась шутить, просто не могу сосредоточиться и постоянно прислушиваюсь к тому, что происходит на улице. А там странным образом тихо, и это меня нервирует еще больше. Я все жду, что ты выкинешь какой-нибудь дикий номер, тебя услышат, пойдут посмотреть, в чем дело, начнут смеяться или, того хуже, захотят помочь. И ты перестанешь быть моим личным секретным достоянием. Да, это странно, но только я одна знаю, что с тобой. И никому не хочу ничего объяснять.

Собираю десертные тарелочки, Каролина мне помогает, и мы уходим на кухню. Вообще вечер удался – всем весело, атмосфера замечательная, и Тристан, тихо прожаривающийся у камина, отлично дополняет картину.

Пользуясь случаем, Каролина в самых скабрёзных подробностях описывает мне, что они вытворяют с ее новым приятелем. По идее я должна бы быть шокирована, именно этого она от меня и ждет, но я реагирую вяло, мои мысли не то чтобы далеко, но и не здесь. Через дорогу.

Наконец Каролина удаляется в туалет, и у меня есть возможность тихо улизнуть. Беру письмо, твой ключ, набрасываю пальто и выскользываю за дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Красный лимонад – популярная ирландская разновидность лимонада, часто смешивается с виски и другими крепкими спиртными напитками.

2

Игра основана на экранизации романа У. Голдинга «Повелитель мух» (если не на самом романе), где дети, оказавшись на необитаемом острове, охотятся на дикую свинью, жарят ее на вертеле, пляшут и т. д.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/sesiliya-ahern/god-kogda-my-vstretilis-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)